
Марина КУДИМОВА

БУСТРОФЕДОН

Повесть

Геля всматривалась в почти круглую — чуть вытянутую углом зрения — отметину от оспопрививания на своем левом плече и в зеркале, и так — захватывая, приборывая и несколько выворачивая кожу вправо, так, чтобы след оказывался на уровне глаз. Прививку ей делали уже тогда, когда Геля могла запоминать события, а не придумывать их. Доктор, безмянный, как все одноразовые доктора, сказал: «ревакцинация». Это означало, что прививка была повторной, объяснила Бабуль. Но предыдущих Геля не помнила, да и следов они не оставили. А эту помнила в подробностях, но не лиц, а рук и прикосновений. Протирку ваткой плеча ниже сустава, ваткой, смоченной спиртом, острое дуновение которого моментально улетучилось, а смазанное место столь же стремительно, с легким холодком, высохло. Нанесение вакцины в три неболезненных надреза. Красную припухлость, которую нельзя было трогать и оттого нестерпимо хотелось делать это. Помнила даже пузырек пустулы, на месте которого образовалась сначала чесотная корочка, а потом кратерок шрама, выделяющийся незагорающей белизной и поделенный надрезами на три сектора.

Дни с жаром и отказом от еды Геля реконструировала по рассказам Бабуль — мало ли от чего и сколько раз в жизни у нее повышалась температура или наступало отказное настроение. Но когда все зажило и на плече появился алебастровый кратер, она спокойным озарением поняла, что в этой впадинке и заключается ее жизнь. Так, наверное, произошло потому, что рождения своего она не хранила в памяти, да и вообразить не могла, какие бы истории на эту тему ни рассказывали ей ровесники и взрослые. Никаких следов появления на свет ее тело не содержало. Оно росло и менялось само, без посторонней помощи, если не считать еду и движение. А когда Геля убедилась, что аналогичный след на плече есть практически у всех, ее подозрения лишь окрепли, и тогда-то она и взяла в обычай рассматривать оспопрививочный след, выворачивая пальцами кожу, словно проверяя, не исчез ли, не стерся ли единственный зримый символ ее жизни. Он заключался не в сердцебиении, которое Геля замечала лишь при игре в «крысы», не в мигании глаз, которое она неделями не фиксировала, не в дыхании, на которое обращала внимание только при насморке, а в слегка неровной поверхности этой впадинки.

В своей догадке Геля убедилась, когда прочла про «европейского сироту» Каспара Хаузера, незнамо как обретшегося на Крестовой улице Нюрнберга. Его име-

Марина Владимировна Кудимова — поэт, прозаик, эссеист, историк литературы, культуролог. Родилась в Тамбове. Начала печататься в 1969 году. В 1973 году окончила Тамбовский педагогический институт. Автор книг стихов: «Перечень причин» (1982), «Чуть что» (1987), «Область» (1989), «Арысь-поле» (1990), «Черёд» (2011), «Целый Божий день» (2011), «Голубятня» (2013), «Душа-левша» (2014). Лауреат премий им. Маяковского (1982), журнала «Новый мир» (2000), Антона Дельвига (2010), «Венец» (2011), Бунинской (2012), Бориса Корнилова (2013), «Писатель XXI века» (2015), Лермонтовской (2015).

нем теперь называют детей, которые не хотят жить как взрослые, то есть непрерывно лгать. Но Гелю уверило в этой истории не блаженное простодушие Каспара и не то, что он выжил в погребке, куда его зачем-то поместили и откуда зачем-то выпустили на погибель в людскую гущу, а то, что на его плече нашли следы прививки от оспы. Эта эмблема, по несгибаемому мнению Гели, не только удостоверяла благородное происхождение нюрнбергского найденыша, но и сохраняла необыкновенную жизнь внука Наполеона, а никак не сына солдата 6-го кавалерийского полка вплоть до подлого удара ножом в Ансбахе, в Хофгартене, в горсаду, по представлению Гели, таком же, как там, где она вынуждена была теперь жить, — с неудобно, будто на толчке, сидящим Лениным, девушкой с веслом, снопом и книгой — несколькими девушками, воспринимающимися как размноженная одна в разных ипостасях, колесом обозрения с подвесными опасными сиденьями и скамейками со следами голубей. Каспар Хаузер научил Гелю простой вещи: чего не помнишь — того не было. А что вспомнишь, то рано или поздно повернется к тебе обратной стороной.

I

Человек такой, какой он пьяный. К этому выводу Геля пришла на Карлушке. До того она пьяных, конечно, видела, но со стороны. К ней они не имели никакого отношения. А на Карлушке поняла, какой человек: такой, какой он пьяный.

Взять Водищевых. Пьяные, кроме Маруси, злобной, жилистой, ухайдаканной, и Светки, недоделанной, сопливой, золотушной, и Коляна белобрысого, который бы с удовольствием попробовал, но ему пока не дают. Вот Федя. У него лицо как стиральная доска. Глаза — две дырки, слабо подсиненные. Рубаха зажеванная. Роста совсем нету. Молчит и молчит. Вот Леня, Федин брат. Он умеет притворяться трезвым и фартовым. Ни в чем ему, однако, не повезло. Кепка плоская. Брюки в сапоги. Рост меньше Федино. Говорит отрывисто и завидует каждому. Вот Манька, Феде и Лени мать. У нее лицо один в один с Федей — тоже рифленое, только чаще. Моет чужие полы. Молчит аналогично. А вот Водищевы выпили. Федя улыбочив, любит всех. Леня празднует, весь в кураже. Дерется, но не со своими. Идет к жене, которая его выгнала, и любит ее битьем. Манька делается как сметана — разглаживается, размазывается. Им хорошо всем.

Новиков. На все руки. Кособок. Со спиной что-то не то. Мрак во все лицо. Слова не проронит. А вот Новиков выпил. Распрямился. Руки тяжелые держит перед собой, чтобы не работали. Смуглота рассветает, проясняется. Правда, придирается к каждому, но задумчиво. Жена Мара ему: «Ща как давану» — в смысле: «наподдам». А он думает, что от слова «давить». И парирует раздельно: «Ме-ня давили... Ох, как да-ви-ли...» Воспоминания его одолевают до полного поглощения. И Мара следом замолкает, что ей не свойственно.

Иван Антоныч по прозвищу Усач. На маршала Буденного похож. Строг — не приблизишься. Хотя и незачем. Но так говорится. А вот Усач выпил. Усы раздвинулись. Шутит. К детям ласков. Играет попеременно в «козла» с мужчинами и в «дурака» с женщинами. Собственно говоря, старухами. Непьющими притом. Их, непьющих и злющих, наперечет. Маруся — другая. «Чернильная» ее все зовут, хотя она седая как лунь. Луна между тем никто не видел, а Чернильная похожа на курицу из кукольного спектакля про подземных жителей. Вылитая. Маха, кривая на левый глаз. Гуня глуповатая. Муся Куряка. Но у нее дочка Света поддает будь здоров. Иван Антоныч с ними, неинтересными, заигрывает как со стоящими. Старухи отмахиваются, но довольны. У Маруси Чернильной муж Пуря. На вечной рыбалке. У воды

сидит, а не моется. Пахнет тинной и мокрой плесенью. Наловит, продаст — как не выпить! Маруся жалуется, что лезет к ней. А самой лестно.

Старухи в опьянении разбираются. Одно дело выпимши. Это вообще не считается. Другое дело — пьяней вина. Это не приветствуется.

Геля долго не соглашалась, что имен меньше, чем людей. Еще есть Маруся Сомова. Она тоже не пьет, потому что болеет раком. У нее отрезана грудь, как у амазонки. А муж ее Ваня поваром в столовой. Вот он всегда пьяней вина. Зато приносит мясо домой в штанах. Это все знают. Поэтому ходит раскорячась.

Маша Гурьева может выпить. И хочет. Но нечасто и плачет. Сын у нее Леха, но его все Алешей зовут. Этого на собственной свадьбе водой отливали. Другого сына — Вильку — Света Курякина увела у жены. На пару пить веселее.

Еще, конечно, не пьет Бабуль. Но Геля и так знает, какая она. Геля с ней живет. Хотя, если, например спросить, носит ли Бабуль очки, какой у нее нос и во что она одета, Геля крепко задумается. Она знает Бабуль словно изнутри. Бабуль со всеми на «вы». И с ней все. Ее уважают. А маму нет. Хотя мама почти не пьет. Только с мужчинами и только шампанское. Мужчины ее называются военпреды, и из-за этих военпредов у нее сложная репутация. Они безуспешно норовят натаскать Гелю по математике. Бросают попытки вскоре и навсегда.

Территория делится на «Во Дворе» и «За Сараями». За Сарай ходить не рекомендуется. А как не ходить, когда ведро полное помоев и по-большому надо, а там помойка и беленый туалет. По-маленькому бабушка приспособила второе ведро, но его тоже на улицу не выплеснешь. А За Сараями учатся курить, выражаться, режутся в пристеночек и в ножички. Но это и во Дворе не возбраняется, кроме курения, только там народу много, особенно летом, и все на виду, а ведь есть и секреты. Сопредельная с Двором территория называется Сто Пятый. Там живет Гарик. Избранных он приглашает в свои владения, но Геля в их число не входит. Напротив живет красавец Агломазовский, по которому поочередно и безответно сохнут все подростки обитательницы Двора. Перпендикулярные Двору улицы Ленинградская и Кронштадтская примечательны тем, что на первой расположена булочная, называемая Толмачевской, а на второй — мрачная руина костела, в котором, по рассказам Бабуль, молились поляки, а теперь заводской цех и колючая обмотка по забору. В костел залезть не получалось: цех в две смены лязгал на всю улицу неизвестными механизмами. Куда подевались благочестивые поляки, Бабуль не отвечала.

Геля со времени переселения на Карлушку очень изменилась. Раньше она была другая, как и всё вокруг нее. И Геля самоизменение это замечала и относилась к нему с пониманием. Только меньше стала себя любить и в Агломазовского решила не влюбляться себе в наказание.

В Туторовский она и Бабуль заявили в конце августа, перед самой отправкой во второй класс. Дом был новый, сосновый. Сосна стойко пахла и местами липла к рукам и подошвам. Всю середину занимала печь. Дед назвал ее русской. Бабуль глядела на печь с ужасом и бормотала, чтоб деду не слышно: «На печи избу поставил». Геля прежде видела такую печь в книжке про гусей-лебедей и знала, что там лежат старики и дети. Но Бабуль лезть на печь отказывалась. Дому Геля не удивилась. Она хорошо разбиралась в словах. Если дед строил домостроительный комбинат, то резонно построил и дом.

— Вот твоя комната, — сказал дед. — Смотри, какой стол.

Стол был матово-красный, невиданный. У него открывалась крышка, словно у рояля. Рояль, по рассказам, имелся у сестры Бабуль. Она красила волосы марган-

цовкой, научно зовя ее перманганатом калия, и Геля про себя звала ее Морковкой. В стол Геля напихала свои альбомы, карандаши Сакко и Ванцетти и краски.

Через дорогу стоял лес. Его звали Брянский. Геле сразу объяснили, что там шла война и осталось много неразорвавшихся мин, почему и потому, что можно заблудиться, ходить туда строго запрещалось. Геля немедленно пошла, как только дед и Бабуль занялись чем-то скучным, а дом был осмотрен. Не заблудилась ничуть, правда, ушла недалеко, чтобы дом просматривался сквозь деревья. Деревья начинали желтеть. Геля узнала осины и березы — они росли везде, и Брянский лес ее ничем не удивил, кроме близости к жилью. Она пока что еще принимала часть за целое.

Дед привел женщину в клетчатом тусклом платке с бахромой. За ней пряталась девочка с белыми волосами и бровями, тоже в платке, поменьше площадью.

— Это Поля, — сказал дед, глядя на Бабуль. — Будет тебе помогать.

— Это Тоня. Будешь с ней в школу ходить и дружить, — сказал он Геле.

— Поля, вы готовить умеете? — спросила Бабуль.

— Хтойзньт, — Поля загадочно повела глазами. — Куфайкю куды бросить?

У нее, вскоре выяснилось, было два таких охранительных заклинания на все случаи жизни: «Хтойзньт» и «Опеть неладно». И одежд было ровно две — «куфайка» на будни и «плюшка» на праздники. «Плюшкой» называлась вовсе не булка, как можно подумать, а черная плисовая, на глаз словно мятая жакетка. Вопрос Бабуль показался Геле странным. До сей поры она готовила самостоятельно, и никто не жаловался. Только дед любил над ней подтрунить, и когда Бабуль, не выдержав безоценочного поглощения обеда, спрашивала: «Вкусно?» — делал особое выражение лица и неизменно отвечал: «Съедобно», а Бабуль делала вид, что обижается. Но Геля догадалась, что Бабуль просто боится печки.

Девочка Геле не понравилась. Слишком тихая. Геля попробовала с ней порисовать, но ничего не вышло: она неприятно подбирала сопли глотом и сломала два карандаша. Геля нарисовала обед и хотела им Тоню накормить. Тоня, чтобы не есть бумагу, отстранялась молча. Белая прядь ее накрутилась на пуговицу Гелиной кофты. Геля хотела высвободить пуговицу от Тони и рванула. Тоня сделалась красной, как стол, и заплакала без крика, то есть по-настоящему. Женщина Поля сказала:

— Опеть неладно! Ашь ты ж, обидушша какá! Не цапляй яё, она смёрна.

Геле совершенно не льстило звание «обидушей». Ей стало стыдно и непонятно, зачем они сюда приехали, и она заревела в полный звук.

Бабуль сказала:

— Девочки, не ссорьтесь!

Поля сказала:

— Тонька, не ори у мене!

Тоня оставалась абсолютно немой, следовательно, «орать» на Полином языке означало что-то другое.

Зато с Сашкой дружба пошла. Лишь немного померились дедами.

Геля сказала:

— Мой дед знает немецкий.

— Он что, фашист? — с преувеличенным ужасом спросил Сашка.

— Сам ты фашист! Он строитель! — драться Геля не любила, но могла.

Сашка вырвался вперед.

— А мой дед знает американский! Он на войне американцами командовал.

Крыть было нечем.

— Американцы — империалисты, — нашлась Геля.

— Но на войне были за нас, — оправдательно сказал Сашка.

В знак дружбы они срубили дерево. Рубили весь день, в два стащенных из чуланов топора, умаялись. Это была береза в самом соку. Она кричала от каждого удара. Желтые курчавые ключья летели и вяли на лету. Надрубленная щепка веерно окружала ступенчатые места ударов. Топор вырывался из рук и тупо лязгал о ствол. Рушась, береза повалила несколько подростов.

Бабуль загадочно молчала. Геля ела суп. Бабуль сказала:

— Приходил лесник. Деревья рубить нехорошо. Оно на вас могло упасть и задать. Топор мог отскочить и разрубить ногу. Я еле упростила не говорить деду. Он бы тебе всыпал.

Геля смутилась и запоздало испугалась. Она и без лесника переживала за погубленное живое. А Сашке таки всыпали.

Школа отстояла от их нового соснового дома километра на три. Бабуль пыталась убедить деда, что Гелю имеет смысл возить на машине. Дед сказал:

— Первого сентября, далее нигде.

Бабуль огорчилась, это было видно невооруженным глазом. А вооруженного у Гели не было. Что это вообще такое? Очки? И далеко ли три километра? Оказалось, порядочно. Потом, однажды, когда велели собирать металлолом, а металлолома в Тупоровском никакого не водилось — одни мины в Брянском лесу, Геля увидела дедова шофера Славу и прыгнула в «победу» — единственную легковушку, дедом признаваемую. Слава сказал:

— Заругают меня... Ладно уж, нечего тебе тут даром спину гнуть. Давно на «Волгу» надо пересаживаться, но директор к этому рыдвану привык. Машина времени, мля...

Славе досталось на орехи. Орехов в Брянском лесу было завались — заросли. И Геле перепало много унылых слов с этим металлоломом.

— Барыней хочешь вырасти? — спрашивал дед. — Белоручкой?

Геля понимала, что отвечать не надо, а барыней быть не так уж и плохо. Бабуль деду не перечила, но ее несогласие с дедом ощущалось, как во сне ощущается утробная наполненность.

Геля и дотупоровскую школу не сильно любила. Не учение ей претило, а ежедневность, мешавшая читать или играть, когда того хочется. Учительница Зоя Григорьевна ходила пятки вместе, носки врозь, как велели каждое утро по радио преподаватель Гордеев и пианист Родионов. Геля писала в тетрадку диктант и молчала. У нее была врожденная грамотность. А по арифметике не было никакой. Но тоже что-то писала в столбик бессмысленное. На нее все показывали глазами и шушукались.

Стало холодно. Геля надела пальто цвета бордо, купленное по дороге в Тупоровский в «Детском мире», в Москве. Там жил другой дед, отцовский. Она его увидела, когда было ей три года, и запомнила только крупные детали. Телевизор с наполненной водой линзой и экраном величиной с кусочек мыла. Мамино платье, которое все называли «фестивальным», потому что тогда шел фестиваль. И негра на улице, на которого хотелось оглянуться, но не разрешали из-за неприличия и дергали за руку. Ее посадили перед телевизором. Там что-то блекло мелькало.

— Балет, — сказал дед отцовский. — Видишь, танцуют?

— Догадаться можно, — воспитанно сказала Геля. Она своих слов не помнила, но взрослой легендой, будто сказала именно так, гордилась.

Бабуль морщилась, когда говорили «бордовый». Пока они с Тоней преодолели три километра, вешалку в классе вдоль стены всю завесили. Геля осталась в пальто, а Тоня свою одежду положила на колени. Зоя Григорьевна в отношении Гели этого не допустила:

— Повесь, куда все.

— Но там уже слишком много других пальто, — сказала Геля.

На нее обернулась староста Люська с подбородком, как у Щелкунчика, и косами, как на плакате. С ненавистью сказала:

— Не пальто, а польто! — и передразнила: — «Пальто»! Ты нерусская, что ли? И зовут тебя не по-русски!

Геля не знала, какая она. Она думала, что «русская» — это печь. Ангелиной ее назвала Бабуль в честь своей подруги. Подруга умерла от тифа. Бабуль часто ее вспоминала.

— Прикуси язык, — сказала Зоя Григорьевна Люське. — У нас все русские. В СССР много народностей.

Геля представила, как Люська своей высокоразвитой челюстью прикусывает язык, отхватывает половину и жует. Тихая Тоня взяла учебник и дала Люське по башке. Геля вспомнила пуговицу и запутавшуюся прядь, и ей снова стало так стыдно, что она встала и вышла из класса. Бабуль встретила ее, качая головой. Дед сказал вечером:

— Давай не дури.

О школе Геля старалась не думать ни днем, ни ночью. Поселка она почти не замечала. Единственно ручей, если дорогу в школу скашивать без Тони. Тоня ручья опасалась. Да и Геля в него однажды шлепнулась — не перескочила. Холод в ручье был зуболомный. Зато заболела! Две недели дома. Но в Туторовском жили необычные парни — рыжие, огромные, с зубами во весь рот. Привлекали внимание. Геля спросила:

— Почему они такие?

Бабуль сказала:

— Они от немцев. Тут немец три года был. В лесу партизаны, а немец тут. В каждом доме.

Геля почему-то поняла, что про «отнемцев» уточнять у Бабуль не надо. Представила, что парней, заранее похищенных, отвоевали партизаны. Уточнила у Сашки. Подумала: «Ничего себе!» А про партизан в школе то и дело преподавали. И время отсчитывали от довойны.

Дед взял ее с собой на работу. Ходили по лесам, подвесным, которые не с деревьями, а временные и окружают стройку. У деда был кабинет, много карандашей в стакане и людей на стульях. Геля всласть порисовала.

Бабуль училась растапливать печь под командованием Поля. Поля говорила:

— Не налягай на ухват, барыня! Не налягай! Как сёрн, пни корчуйшь.

Она Бабуль звала барыней. А Геле, значит, барыней нельзя! «Каксёрн» означало сравнение.

— Я никогда не научусь, — отчаивалась Бабуль.

— Хтойзнть, — ободряла ее Поля.

Дожди пошли. Бабуль сказала: «Зарядили». Геля любила ее слова. Даже не понимать их любила, чтобы думать самой. Зарядили... Ружье, что ли, они? Бабуль волновалась из-за ранней темноты, выглядывала в кромешное окно. Поля ее утешала:

— Прийдуть, прийдуть! У них рапортиция.

Поля верила в художественную самодеятельность.

Дорогу до школы развезло, как переваренную гречневую кашу. Тоня пробежала невесомо, а Геля оступилась, и блестящая грязь, голодно чавкнув, проглотила ее сапог, городской, блестящий тоже. Геля хотела нашарить его ногой, как тапочку под кроватью. Нога ухнула по колено. Повернула домой в мокром черном, коркой подсыхающем чулке. Сидела, пока дед не привез новые сапоги из райцентра. Читала, читала.

Бабуль сказала:

— У тебя ум за разум зайдет.

Геля что-то такое чувствовала в голове не то. Смешное слово «заразум» ей казалось вирусом, каким она болела в прошлом, никогда не бывшем году. Но может ли ум заразиться вирусом?

Зимой отморозила щеку. Та стала лиловой, потом свекольной. Болела, чесалась. Бабуль мазала — чем только не мазала. Снова Геля читала, читала.

— Умзаразум...

Геля для разгрузки ума вырезала по трафарету бумажных кукол, составляла из них семьи и бальные пары.

Весной, в начале, приехала Морковка-марганцовка. Снег раскис, еле пробралась. Храпела напротив Гели на раскладушке. На стену прикрепила портрет принца Нородома Сианука из газеты. Чем-то он Морковке приглянулся. Геля от храпа не спала, бродила вокруг неостывающей печи, обтирая побелку. Бабуль с Морковкой много разговаривали.

— Ах, мой Бобочка! — закатывала глаза Морковка. — Эта сволочь его доконает!

— Она — его жена и мать его детей! — увещевала Бабуль.

— Она — сволочь, сволочь! — настаивала Морковка.

Геля думала, что речь о собаках. А говорили о сыне Морковки.

Гагарин полетел в космос. Геля не понимала как. Дед объяснял — еще запутал. Туторовский молчал. Только рыжие, «отнемцев», бегали и реготали.

Морковку Геля и Бабуль провожали до железной дороги, где их самих встречал дед, когда было почти лето. Геле захотелось в поезд с горьким шатучим чаем, открытым окном и занавесками вразлет. Бабуль невидно всплакнула, а Морковка все причитала:

— Ах, наконец-то я увижу своего дорогого Бобочку!

Как будто ее кто-то насильно держал без Бобочки.

Провожаящим приказали покинуть. Покинули, постояли, не слышно крича снаружи и физкультурно жестикулируя внутри. Проводница крепко держала обернутый вокруг палки желтый флажок. Геля думала о том, отстают ли проводницы от поезда, что делают в таких случаях и как их наказывают. Морковная голова вспыхнула напоследок сквозь двойные стекла. С проводницами вопрос навсегда остался неразрешимым, как проблема: болеют ли врачи.

Слава повез их в магазин «Культтовары». Там было пыльно.

— Выбери куклу, — предложила Бабуль.

Геля кукол предпочитала малогабаритных, с твердой головой и мягким туловищем. Их было нетрудно обшить лоскутами. Но чтоб не показаться глупой, ткнула пальцем в рослого пупса. Он так звался, наверное, потому, что посреди живота у него был пуп. Ниже — ничего, гладкое место. Трудно было понять, как его называть — мальчиковым или девочковым именем. Принца Сианука Геля откнутила. Хотела выбросить, но, подумав, вложила в сказки Пушкина.

Слава привез щенка, дед ему дал имя Яго.

— Овчарка? — брезгливо спросила Бабуль.

— Подовчаренный, — неуверенно сказал Слава.

— Метис, — сказал дед. — Будет вас охранять.

— Мало ты на овчарок насмотрелся, — сказала Бабуль желчно.

Дед засмеялся. Смеялся он редко.

— Яго — это кто? — спросила Геля.

— Мерзавец, — сказала Бабуль.

— Офицер, который хотел быть генералом, — сказал дед.

— Ничтожество! — сказала Бабуль, повышая тон.

— Герои стали не нужны, — сказал дед. — Он это понял.

— Очень актуально! — сказала Бабуль колко.

— Вы, что ли, ссоритесь? — заподозрила Геля.

— Опеть неладно, — высказала мнение Поля.

— Что ты, что ты, деточка! — заспешила Бабуль.

— Крэдо ин ун Дио крудэль, — пропел дед дрожаще-басовито, на Гелиной памяти вообще впервые.

— Какое такое ты спел? — спросила Геля, изумленная.

— Верую в жестокого Бога, — сказал дед торжественно.

— Ты говорила, Бог милосердный, — обернувшись на Бабуль, недоумевала Геля.

— Хтойзнть, — сказала Поля с сомнением.

— Это ария из оперы, — как можно мягче сказала Бабуль.

— Почему в опере Бог жестокий? На каком языке?

Дополнительный вопрос лишил ответа на основной.

— На итальянском, — сказал дед. — Оперу следует петь по-итальянски.

«Намекнуть Сашке, что дед знает еще итальянский», — отметила Геля.

Школа бесславно прошла, тотчас забылась, и, как всегда в начале каникул, казалось, что никогда не возобновится. С Сашкой жгли костры за домом и хвастались тем, что выдумали. Яго оказался глуп и вороват — спер зигзаг полукопченой колбасы и закусил объемным караваем, который пекла Поля в русской печке. Его посадили на цепь. Он легко вылезал из ошейника и бегал как угорелый. Каждое утро дед ни свет ни заря брал Яго на поводок и шел, как он говорил, «заниматься». Звал с собой Гелю, но она безбожно спала.

Слава привез торчащий из багажника велосипед. Геля бросилась к «победе», хлопнула дверцей по большому пальцу. С приложенным льдом и болью, отдающей в лбу, обнимала велосипед, не зная, как к нему подобраться. Ноготь походил на грозовую тучу. Дед держал седло крепко одной рукой. Отпустил незаметно, а Геля ехала, педали крутила. Когда надо было поворачивать, пришлось упасть набок. Дня через два наладилось, будто родилась на велосипеде. Сашка тоже научился, а Тоня боялась. Ноготь сходил цепляющими слоями.

Зашла за Тоней — впервые в их избу. Такой дом иначе не назовешь. Темень, как в проруби. Геля в проруби не была, но, как и многое, неизвестно откуда, само собой, знала. Ведра и чугулки повсеместно — скотину кормить. Стол да скамья. На печи что-то заворчалось, лохмотья раздвинулись, и показался мужик — косматый, смрадный, кашельный. Геля выскочила. Во двор зашла Поля с огорода.

— Опеть неладно? Не бойсь! Это Данила. С войны пришел — и на печку влез.

У Поли были другие дочки — Валя и Надя. Чистые, красивые, замужние. Бухгалтерши обе. Откуда взялась Тоня, если Данила с войны на печке?

Потом приехала мама, и в саду повесили гамак. Мама лежала целыми днями и курила. Геля не знала, что ей сказать. Она никогда не думала, почему не живет с мамой. Так сложилось — и пускай.

— Хочешь посмотреть на Барана Козловича? — гостеприимно предложила Геля.

Мама расширила красивые глаза.

— Это еще кто?

Бараном Козловичем Геля с дедом звали старый тулуп. Он раскладывался на веранде, и Геля на животе, упершись локтями в шелково-колючую волглую изнанку, пахнущую, как Данила, читала на нем «Робинзона Крузо».

Баран Козлович не произвел на маму впечатления. Яго залез в гамак, запутался, визжал. Геля увидела дом новый-сосновый словно впервые — маминими глазами. Сени, как Поля говорила, сыроватые, холодные всегда, увешаны связками вяленой рыбы, подобно репродукциям в «Огоньке». Лук в старых чулках. Вода в ведрах с крыш-

ками эмалированных. Поля носит в оцинкованных и выливает в эмалированные. Остальные припасы в подполе. Геле туда нельзя. Поля лазают. Бабуль говорит:

— Дед наш — чистый фламандец.

Фламандец — это кто так любил еду, что только ее и рисовал.

Бабуль рассказала Геле содержание оперы, которую дед исполнял. Геля не взяла в толк, зачем удущать Дездемону, когда можно было с ней спокойно развестись. Мама с отцом в который раз развелись — Геля сама слышала, как она уведомила Бабуль, а Бабуль ночью шепотом делилась с дедом.

— Хватит уже! — сказал дед. — Взрослая, пусть решает. Мне все это надоело.

— Но если с нами что случится, с кем останется Гелечка? — прошептала Бабуль похоже на свою сестру Морковку.

— А что с нами случится? — спросил дед, как на его месте поступила бы и Геля.

— Мало ли что, — неопределенно шепнула бабушка.

— Все уже случилось, — зевнул дед. — На наш век хватит.

Геля принялась было размышлять на эту тему, но заснула.

С отцом ее оставили однажды летом, привезя в город на побывку. Мама незамедлительно уехала на курорт — ей надо было отдохнуть от работы среди военпредов. Отец был неплохой, правда, кормил насильно. Геля выстояла. По вечерам смотрела телевизор в зеркало из другой комнаты. Дед и Бабуль приехали в конце лета. Дед с отцом долго говорили, пили коньяк.

— Я не отдам ребенка, пока вы отношения не наладите, — сказал дед.

Отец ушел на балкон, курил, сильно выдувая дым. А Бабуль взяла Гелю с собой на прогулку. Поблизости от дома были парк и развалившийся дворец.

— Здесь жил попечитель нашего института, — сказала Бабуль возбужденно. — Он приходил к нам с дочкой. Она была больна.

— Чем? — спросила Геля.

— Ну, в общем, неполноценная. Все время тянула отца за руку и повторяла: «На ослике! На ослике!» Однажды нас повели сюда. Попечитель праздновал день рождения той самой дурочки, и нас пригласили. Девочка действительно каталась на ослике вокруг вот этого фонтана. Как же мы завидовали!

Под фонтаном Бабуль подразумевала, очевидно, что-то вроде огромного таза с высокими бортами в центре парка, куда дождь нанес воды, и в нем плавал раскисший мусор. В центре таза торчал одинокий металлический штырь.

— Здесь была прекрасная статуя, — сказала Бабуль печально.

— Бомба попала? — предположила Геля.

— Нет, бомбы сюда не долетали. Глубокий тыл, — Бабуль все не выходила из расеянности. — Обнаженная натура донимала.

Геля поняла только, что статуя была голая.

Уезжали спозаранку на шахматном такси. Отец притворялся, что спит. Или правда спал. Геля зачем-то поцеловала край его постели. Нельзя сказать, чтобы она отца так уж любила — она его слишком редко и всегда в неблагоприятных ситуациях видела. По сравнению с дедом, можно сказать, и не любила. Однажды он поднял ее среди ночи, они помчались по непрогляди разыскивать маму, и Геля, спросонья напавившая чешки на тонкой подошве, оббила ступни о камни ремонтируемой дороги. Мама нашлась утром, на кухне, когда Геля, насилиу заснувшая после пробега, встала поздно и недовольная. Но сейчас ей казалось, что это так красиво — поцеловать край постели.

Москва на сей раз впечаталась трехэтажной очередью в «Детском мире» за одеждой, за тем самым пальто-бордо, девочкой, с которой болтали на холодных ступеньках, и незлым ворчанием деда в поезде:

— Зачем ребенка истязать? Я бы через потребсоюз достал все то же самое без всякой очереди.

Дед начал болеть осенью. Осень в Тугуровском была обыкновенная. Листья липкие на стекле. Пронизывало, и воздух сизый, как нос Джузеппе, не захотевшего стать отцом Буратино. Наконец отпустили на каникулы — короткие, бесполезные. Дождь непрекратимый. На велосипеде не проедешь. Лес обнищал. Дед сидел с грелкой на диване, капризничал. Бабуль умоляла съесть суп и принять таблетку. После таблетки он Геле читал «Конька-горбунка», «Сказку о царе Салтане». Все это Геля наизусть знала, но с дедова голоса как-то обновлялось.

Появился врач Григорий Львович с женой Лилей — красавицей. Похуже мамы, но надо признать. Они стали часто приходить в гости. У Гели завелись вши от Тони. А у нее от Данилы. Бабуль намазала керосином из маленькой бутылочки и повязала косынкой. Бутылочка с керосином кипятилась в миске с водой. Геля зубок знала все Бабулины лекарства. Глазные капли желтые. Капли нашатырно-анисовые. Нашатырный спирт отдельно. Валерьянка от нервов. Зеленка от болячек. От кашля по копейке — это Бабуль подчеркивала. Аскорбинка. Вазелин. Банки простудные с выпуклым доньшком, с мгновенным разогревом изнутри ватным синего пламени факелком, намотанным на карандаш. Банки лепила Бабуль на грудь и спину — попеременно. Они оставляли коричневые круги, похожие на прожаренные котлеты. При шевелении позвякивали, как медали. Потягивали кожу. А кипяченым керосином Геле и горло мазали. И вот теперь голову.

Григория Львовича и Лилю кормили пирогами с капустой, грибами солеными и вишнегретом. Водку с мандаринными корками ставили.

Геле очень хотелось Лилю чем-то в себе заинтересовать.

— У меня вши, — ляпнула она.

Лиля была благонаправная, никак не прокомментировала. А Григорий Львович сузил лоб и сказал:

— Ты в сторонке, в сторонке стой.

— Ничего, — смущенно сказала Лиля.

Но рисунки Гелины осмотрела невнимательно.

Бабуль после их ухода объясняла, что не все обязательно говорить вслух. Впрочем, ходить не перестали и кушали сдобно. Вши быстро вывелись. Тоню тоже продезинфицировали, но к Даниле не подобралась.

Слова «диагноз» Геля раньше не слышала и, как его ставят, не представляла — не то что банки. Ей казалось, что это ширма, за которой Бабуль переодевалась, когда болела чем-то внутри. Геля тогда была совсем маленькая. Попредставляв, она почти всегда засыпала на Бабулиной молитве. Бабуль шевелила губами — длинно и шепеляво, потому что зубы на ночь вынимала изо рта. Ставила перед собой иконку — образок, как она говорила, потом убирала в ящичек. Почему-то нельзя было оставлять на виду. Она и крестик рисовала тайно химическим карандашом на Гелиных майках — под плечевой лямкой — и на фланелевом лифчике, к которому при поддержке одной никелированной скобки, обтянутой нитками, крепились на длинной широкой резинке чулки. Была и вторая такая же скобка, часто скособоченная, сзади. Всегда расстегивалась.

Молитва стала длиннее и отчетливее. Геля успевала проснуться, добрести до горшка, стоявшего за печью, прожурчать, вернуться и, заново угреваясь и засыпая, слышать Бабулино шепелявление, продолжающееся с вечера:

— О Премилосердый Боже, Отче, Сыне и Святый Душе, в нераздельней Троице поклоняемый и славимый, призри благоутробно на раба Твоего...

— Диагноз плохой, — говорила Бабуль Поле. — И поставили поздно.

— Хтойзньт, — уговаривала ее Поля. — Можа, обжопились.

— Да нет, не ошиблись, — переводила Бабуль. — Смотри, какой он желтый!

— Опеть неладно! Желтай... Дома сидить, вот и желтай. Ты выкинь диагнось эту-то. К бабке надоть.

— Поля, ну что за темнота! Какая бабка! — возмущалась Бабуль.

— Она партизаней выхаживала. Хорóша бабка, стояща!

— Что же Данилу твоего не выходила? — сомневалась Бабуль.

— Хтойзньт! Порча на нем! — оправдывалась Поля. — Он какой веселай до войны был — не поверишь! Первая на гулянках!

Поверить в это, увидев настоящего обомшелого Данилу, было непросто.

— Ох, головушка горь-ки-я-я! — неожиданно тошно заголосила Поля. — Ох, зародилася несчастна, я ня знаю, как жа быть, как мне на свети жить...Ох, света белыва отстану, любить ста-ра-ва ня стану-у...

— Нет, Поля, это рак, — ужасалась Бабуль, откровенно не слыша Полиных песнопений. — Григорий Львович сказал...

— Хтойзньт? Львович твой! — перебивала Поля, прервав заплачку. — Пушай за бабой лучше смотреть...

Обе уставали в препираниях и замолкали. Геля была не такая глупая, чтобы вообразить речного рака цвета дедовой военной фляжки или лужи за домом, где они с Сашкой ловили головастиков. Она понимала, что так называется болезнь. Ей, как и Поле, казалось, что в болезни этой виноват кудрявый, чернявый Григорий Львович с отменным аппетитом и до известной степени красавица Лиля. Никакого рака Геля не воображала, зато в картинах представляла себе мечь Григорию Львовичу. Мечь заключалась в черном мече, висащем на черных цепях. Такие рисовал Сашка в тетради по русскому. В наколдованный момент меч самопроизвольно срывался с цепей и летел прямо в диагноз, поставленный негодным врачом, как щит. Григорий Львович был первым человеком, которому Геля желала смерти, и от этого делалось не по себе. Еще одно странное выражение. «Не по себе» — а по кому?

Прошло ползимы, когда Бабуль сказала, что деду выдали путевку в санаторий. Он никогда ни в какие санатории не ездил. И теперь не хотел. Сидел нахохленный, губы обметало белым. Очень худой, уменьшенный. Подробно наблюдал, как Поля растапливает русскую печь, жжет бересту, прогревая трубу, укладывает дрова в горниле. Сказал:

— Ты вот что, Геликониха, — он Гелю иногда так звал, — ты смотри, чтобы тут Бабуль не хулиганила.

Голос тоже уменьшился, приглож.

Геля заплакала.

— Ну! — сказал дед. — Ты же теперь знаешь, что такое проверка на шивость. Вот и меня проверят — и отпустят.

Шутит, поняла Геля, но не засмеялась.

— Тебя керосином небось не намажут, — отшутилась она, как умела.

— Кто знает, чем они там мажут. Тыком в основном, — сказал дед и налил грелку. Она давно не помогала. Зато Геля вдруг постигла, что такое Полюно «хтойзньт»! А «тык», она думала, это такой инструмент.

Когда дед садился в машину — вернее, его туда втаскивали Бабуль и Слава, Геля полновесно поняла, что в последний раз видит того, кого любила сильнее всех остальных людей на свете, исключая Бабуль. Он носил широкие плещущие брюки, в которые сейчас можно было свободно засунуть еще и Славу, и пиджаки с острыми выступающими лацканами. В пиджак теперь можно было одеть одновременно не менее трех рыжих «отнемцев». Пальто и шапка пирожком тоже были

как чужие. Дед слабо клюнул белой рукой, подзывая Гелю. Она подошла, встала, помня про придавленный ноготь, сжав руку в варежке в кулак и не берясь за дверцу.

— Не руби деревьев, — сказал дед хрипло.

Геля отшатнулась.

— Крэдо ин ун Дио крудэль, — выдавил дед, глядя на Бабуль. Она отвернулась, поворотилась, ушла, возвратилась, опустив не плечи, а все большое тело, и припала зачем-то к Полиной сальной «куфайке» и шали в мутную клетку.

— Пора, — сказал дед равнодушно.

Слава уже завел машину, когда перед капотом возник одичалый призрак в лоснящемся кителе времен войны, солдатских штанах и галошах, надетых на серые носки деревенской вязки. Серосуконная ушанка со спекшимися завязками приросла к голове и обсадилась курчавыми грязно-серыми волосами.

— Данил-а-а-а! Иди отседова! — крикнула Поля, словно он стоял на другом конце леса.

Данила в пояс поклонился машине и криво ее перекрестил. Дед, уже отчуждившийся от самых дорогих, вдруг открыл дверь и стал выпадать, косо, по амплитуде маятника, забыв вынести опорную ногу. Бабуль подхватила его, не удержала, и он вытянул руки в снег, будто готовясь отжиматься. Выскочил Слава, дотянулась Поля, и они вдвоем под руки подняли деда.

— Вставай, солдат! — сказал дед Даниле, будто это он упал. — Хватит печку пролеживать. Тут бабы одни остаются. Видал, что со мной?

— Смерть ходить каждый день, — это было первое заявление, которое Геля слышала из уст Данилы. — Каждый день, — воспроизвел он приподнято.

Дед закивал, сглатывая горловые слезы. Бабуль бросилась к нему и, не прекращая целовать вдавившиеся внутрь щеки, тоже крестила, крестила мелко, нагибая деда и вдвигая обратно. В заранее подготовленный подкоп просочился Яго, успел разбежаться и бросился на машину передними лапами, царапая стекла и волнообразно подвывая.

— На место, на место! — ослабевшим голосом закричала Бабуль.

Тоже откуда ни возьмись взялась Тоня, задергала Данилин рукав:

— Папкя! Пошли домой, папкя!

— Опеть неладно, — тоскливо сказала Поля.

Геля, для себя нежданно, вдруг тоже прижалась к ее «куфайке», отдающей русской печью и куриным пометом.

— Я не обидущая, — пробубнила она в почти черную вату. — Я вас успела полюбить.

— Ты ж моя жал-ки-я, — выдохнула Поля.

«Победа» прощально тронулась. Тоня поволокла Данилу, Поля, пометавшись, пошла, отдельная, за ними, ужимая на шее шаль. Яго побежал за машиной и больше не вернулся.

Геля на пороге механически обмела валенки и только заметила, что Бабуль в домашних тапочках. Почему-то эти тапочки и нагие лодыжки окончательно доказали ей, что дальше жизнь будет совсем другой.

Телеграмма от мамы пришла через неделю. Слава отвез Бабуль в дедов кабинет, откуда можно было звонить по телефону. Вернулась она с лицом, также предвещавшим другую жизнь.

— Деда мама забрала, — сказала Бабуль. — Мы едем к ней. Насовсем.

— А дом? — обмерев, спросила Геля.

— Дом ведомственный. Здесь будут жить другие люди.

— А Баран Козлович?! — основы бытия зашатались в Геле, хотя она понятия не имела, что такое «ведомственный».

— Он в городе не приживется, — сказала Бабуль с вызовом.

Тоня, не мигая и шмыгая созерцавшая до этого, как Геля шьет кукле, взметнула белые ресницы и заорала дурным голосом, который Бабуль называла почему-то благим, то есть хорошим, матом. Плохой Геля знала от Сашки.

— Деточка, — сказала Бабуль Тоне, — перестань плакать. Позови лучше маму.

Поля прибежала, как всегда, бросив «куфайку» в угол и разувшись. Они всё перешептывались, Геля устала подслушивать, уснула. Ничего почти не поняла.

В сборах принимали участие все. Даже Данила словно бы послушался деда. Заскорузыми руками он, как ни странно, ловко увязывал узлы и уминал в огромные ящики книги. Был совсем не страшный и не призрачный, просто невымытый и небритый. Поля отрывалась от вещей, озирала его. Он не отвечал.

— Куды столько? — время от времени обводила Поля книжные стопы. — В билитеку отдай. В билитеку...

— Ни за что! — отрезала Бабуль.

Данила неожиданно поднял лицо, встопорчил прикрытые ушанкой кудлы.

— Культурра! — сказал он, точно говорящий грач.

— Припасы забирайте, — сказала Бабуль Поле. — Чужим не хочу оставлять.

Поля навернула им в дорогу целый куль еды. Геля раздала много своих книг Тоне и Сашке, не думая о том, нужны ли они им. Отдала половину кукол — они Тоне точно нравились, хотя и скрытно. Оставила себе «Конька-горбунка» и сказки Пушкина. Но Бабуль велела их тоже положить в ящик, сказала:

— В машине читать вредно.

Слава приехал, но не на «победе», а на крытом брезентом ГАЗ-51. Дед научил Гелю разбираться в технике. Пришли еще мужики с комбината. Погрузили. Геле уже скорей хотелось ехать, а не прощаться. Поля и Тоня стояли, подпершись, пока было видно. Сашка упросил прокатиться до больницы — последнего поселкового строения. Там прыгнул, солидно сказал:

— Ну, покедова.

Геля вспомнила про Григория Львовича и погрозила ему кулаком. Смерти доктору в преддверии другой жизни больше не желала.

Они в машине и спали. Когда неизвестно почему останавливались, Геля выталкивалась из вязкого забытья и видела освещаемые фарами загадочные указатели: «Биомасса НДП» или «Язвы 5,3». Слава по дороге знал, где поесть, где туалет. И все ехали и ехали мимо глухих деревень, немых полей, огней, горящих на весу. Снова Геля засыпала между Славой и Бабуль. И снова обедали с шоферами и командированными гороховым супом или борщом, дуя, сморщивали пенку на какао к краю стакана. Геле казалось, что так они будут всегда.

ГАЗ заглох в городе Михайлов — Геля запомнила. Она мало бывала в городах, только два раза в Москве и летом у родителей. Михайлов городом Геле не показался. Она заметила магазин «Культтовары». Слава проводил Гелю с пустыми руками и Бабуль с сумкой на вокзал, отстоял очередь за билетами и ушел чиниться.

— Жаль директора, — сказал на прощание Слава. — Атомный мужик. Жаль!

Геля всегда мечтала попасть в комнату матери и ребенка — она видела такие таблички на вокзалах, где оказывалась прежде, но ей не удавалось уговорить Бабуль проникнуть туда, и она убедила себя, что там рожают детей, и поэтому нельзя. Геля уже замечала, что сбывшаяся мечта мало напоминает несбывшуюся. Комната матери и ребенка оказалась помещением со многими кроватями, как в больнице у Григория Львовича, куда Геля ходила с дедом на открытие. Только в больнице не разрешали бегать и шуметь, а здесь, в странном парящем мареве, закатывались ревом и носились дети разных возрастов, были слышны поезда и объявления

и постоянно кто-то таскал чемоданы и тех же детей на выход. Но когда они с Бабуль пошли в вокзальное здание дать телеграмму маме, Геля осознала, что бывает толчея и кучность и похуже. Уснуть Геля не смогла, или ей, наоборот, виделось во сне марево и чемоданы. Но Бабуль наяву сидела всю ночь на углу кровати и нащептывала. Только зубы не сняла.

Они промаялись весь следующий день в этой так недавно желанной комнате. Геля с незнакомым мальчиком пошли побродить по коридорам, нашли чудесный титан с водой и привязанной к нему кружкой, немного побрызгались, но железнодорожники, а может, милиционеры бесцеремонно вернули их на место, и Бабуль еще перед ними извинялась. Нужный поезд отъезжал вечером, измученная Геля пристроилась на боковой полке. Бабуль сказала:

— Нам ехать недолго. Ты поспи, а я посижу.

И снова было марево и душные запахи чужих, и Бабуль тулилась подле Гели, а с противоположной стороны свисали отдельные ноги и простыни, и жалко было всех до невозможности. Но Гелю одолел тот дорожный сложносочиненный сон-забытье, возмочь который помогает лишь время, а не необходимость. Геля прилипла щекой к Бабулиной сумке, которую та поставила у нее в голове. И ни холод сумочного замка, ни валкость вагона Гелиного забытья не прерывали, а, напротив, окунали ее все глубже и глубже.

— Гелечка, вставай, — зывала Бабуль.

И Геля ее слышала, но поделаться с сонным параличом ничего не могла, да и не хотела. И когда они выбрались в другую, дымчатую, но не разогретую, а хладно-бездушную мглу, чуть озаренную мерклым игольчатым светом, Геля не проснулась, а просто подчинилась движению. Их никто не встречал, и Геля подумала, что они перепутали город, сойдя не там. Ее спросонно знобило, било об саму себя и качало, пока они шли, шли, шли, и на них мело и дуло с присвистом. Геля пришла в себя, когда Бабуль стучалась в выходящее на обнаженную пустотой улицу окно покосившегося домика.

— Мы здесь будем жить? — с трепетом и ознобным заиканием спросила Геля, хотя ей новорожденно хотелось в тепло, что бы его ни источало.

— Что ты, деточка! — успокоила ее Бабуль. — Здесь мои старинные приятельницы живут. Мы у них переночуем.

Геля замечала, что Бабуль никогда не говорит «друзья». Белая занавеска двинулась, затемнилась небольшим зазором, прихватила неизвестной рукой. Рука замахала в неопределенном направлении. Геля и Бабуль вошли в ворота, еще более скошенные временем, чем домок, потом в дверь, кособокою уже вовсе неправдоподобно, так что Геле пришли на ум любимые стихи деда про скрюченный домишко и живущих в нем подагрических мышек. Две старушки, принявшие их в короткие ночные объятия, были сбывчиво, до волшебства похожи на мышек.

— Тусечка! Дусечка! — плакала Бабуль.

Тусечка была попопнее и не такая остроносая, как Дусечка, да и посимпатичнее, менее мышастая. Дусечка сразу ушла спать, не сказав ничего вразумительного. Тусечка пыталась накормить приезжих, но у нее не выходило. Из-за кривизны пространства все съезжало на край стола. Геля отползла на покатый диванчик, укрылась каким-то рядом и провалилась, успев подумать: «Другая жизнь».

Утром она чувствовала себя юнгой на корабле, севшем на мель. Пол тоже был кренящийся — хоть на салазках катайся, уходил из-под ног. Туся и Дуся, мышино подергивая носиками, пили чай под углом — пустую чашку не надо было наклонять. Ни мамы, ни отца по-прежнему не просматривалось.

— Может, телеграмму не получили, — предположила Туся.

- Нет, — отозвалась Бабуль потерянно. — Наверное, плохо там все.
- А вот у нас до войны, — вступила Дуся, — одна сотрудница заболела...
- Ой, прекрати! — перебила ее Туся.

Дуся надулась, превратившись в мышь, набившую за щеки сыра.

- Хочешь посмотреть на рояль? — сделала Туся предложение Геле.

Геля вежливо кивнула. Не рассказывать же про Морковку и красный стол.

Туся отвела ее в комнатку с точно такими же отлогими полами, куда, кроме рояля, втиснуть было ничего невозможно. Но рояль туда непонятно пропихнулся, и Геля была уверена, что он сей же час поедет на нее на своих колесиках и придавит к стене. Она подумала, что в целях безопасности исполнитель играет из коридора, вытянув руки на всю длину.

- Вот! — победительно сказала Туся. — Когда-нибудь придешь, я тебе поиграю.

По уходе Туси Геля покрутилась до тошноты на круглой табуретке с винтом под задом и немного развлеклась.

Потом они с Бабуль ехали из покатога дома на автобусе с кондукторшей. У той из сумки свисали билетные кудри, которые она безжалостно отрывала входящим.

Потом вышли.

- Вот мы и на Карлушке, — сказала Бабуль потусторонне.

— Какой еще Карлушке? — потрясенно спросила Геля, после верчения на рояльном стуле едва начавшая верить, что они все-таки не перепутали город.

- Улица Карла Маркса. Моя мама его Карлушкой звала.

Наличие у Бабули мамы Гелю не удивляло — о ней много рассказывалось туторовскими вечерами. Дед величал Гелину прабабушку тещей и, судя по всему, уважал. Но сейчас Гелю отчасти заботило местонахождение ее мамы, собственной. Хотя бы из одного любопытства хотелось знать, где она живет или находится. Пока переходили улицу, Геля успела спросить:

- А Туся кто?
- Она музыкант.
- А Дуся?
- А Дуся — просто ее сестра.
- А ты откуда их знаешь?
- Я с Тусей училась.

Новость тоже не была из разряда ошеломляющих, но заслуживала внимания. Геля знала про Институт благородных девиц, где Бабуль встретила революцию. Но ее не вводили в курс многих подробностей, в том числе из Бабулиных соучениц она знала лишь об одной своей тезке, впрочем, плохо представляя, сколько их было всего и как вообще происходило обучение. «Дореволюции» так же, как и «довойны», было временем расплывчатым.

Меж тем дом напротив не походил на скрюченное жилище Туси и Дуси, но и туторовский сосновый ничем не напоминал, и уж тем более тот, возле реки, где Гелю оставляли с отцом. Тот был четырехэтажный, желтый, с балконными накладками. Этот был одноэтажный, кирпичный, построенный, как и побеленный, минимум лет сто назад. Русскую печку Поля подбеливала трижды за недлинное время их пребывания, и всякий раз Геле неизбежно посчастливилось участвовать в процессе, макать мочальную кисть в ведро, капать ненаказуемо на пол и запрещаемо проверять пальцем степень подсыхаемости. Вход был со двора, как и у мышастых сестер. Геля еще не знала, что Двор впишется в ее память с прописной буквы.

Сначала она услышала крик. Крик раздавался за деревянной пристройкой к дому, образовавшей просторную помесь коридора и летней веранды. Нет, сначала

было крыльцо — широкое, так что на верхней площадке помещалась скамья, на которой Геля могла бы спать, вытянувшись во весь рост. А пожалуй, и Бабуль поместилась бы неутесненно. На крыльцо крик проникал слабовато, но все же явственно. Миновали коридор, больше похожий на пустую комнату, открыли клеенчатую, ключьями, дверь с глубоко притопленным замком. Она вела в кухню, загроможденную, как скобяная лавка. Крик приблизился, стали различимы его перепады, верхи и низы. Геля заметила справа лишнюю дверь, приземистую, но они пошли прямо, в более презентабельную, двойную и необитую, сохранявшую под краской свое древесное происхождение.

Пока крик прерывался клопочущим захлебом и переходил в тягучий стон, Геля обнаружила в помещении печку, очень похожую на русскую, но уменьшенную. Вскоре Бабуль наречет ее *экономкой*. Печь давно прогорела, и если в помещении было тепло, то только по сравнению с улицей. Геля уперлась взглядом в окно прямо перед собой — размер комнаты в шагах был мал. За окном наблюдалась глухая изжелта-индевелая стена. Сад, отделявший ее от окна, подмерзшего снизу, был повержен зимой, и Геля проскользнула взглядом голые, приниженные снегом ветви. Из смежной комнаты, куда уже успела вторгнуться Бабуль, крик раздался такой мощный, что Геле показалось, будто стена напротив содрогнулась и поползла. Геля машинально вступила в пространство крика. В дальнем углу очерчивалась койка с голубой больничной закругленной спинкой, вокруг которой сгрудились мама, Бабуль и незнакомая массивная женщина. Крик, исторгаемый словно самой этой койкой, сопровождался хаотическим танцем сгрудившихся, борющихся с чем-то или кем-то, не имеющим объема.

Геля подошла ближе и увидела на койке тень деда, пытавшуюся выбраться из-под танцующих. Тень взметнула руки, казалось, до потолка, оттолкнула сразу всех и, приобретя нечеткие очертания человека, рухнула на Бабуль. Бабуль неожиданно устояла и, обхватив белую рубаху тени, сказала с неестественным спокойствием:

— Все. Все! Я здесь. Ляг, пожалуйста.

Гелин слух особенно напрягла эта фигура вежливости, которую ее обучали повторять по любому поводу, это так называемое «волшебное» слово, обычно ни малейшей волшбы в себе не заключавшее, но сейчас подействовавшее именно таким, видимо, все же заложенным в его глубинах способом. Тень деда послушно отпрянула назад и заняла исходную позицию, слившись с постельным бельем.

— Сестра, сделайте ему укол, — командовала Бабуль, и массивная так же послушалась ее, как и бестелесный.

Геля тихо вышла в комнату с печкой и присела на тахту. Она не чувствовала ничего, и только эта уменьшенная печка родила ее с навсегда утраченным. Геля не верила в *отенение* человека, на котором пару месяцев назад держался мир. Подошла мама, села рядом не обнимая.

— Привет, — устало сказала она. — Ты голодная? Сейчас что-нибудь приготовим. Надо печь растопить.

Геля, прекрасно осведомленная о скорости приготовления пищи на печи, поняла, что насыщение зависит от ее расторопности.

— Где у вас дрова? — деловито спросила она.

— Здесь углем топят, — сказала мама. — Он в сарае. Сейчас покажу. Этим тебе придется заниматься.

Геля еще так и не разделась, а мама накинула короткую шубу цвета снега с землей, как бывает в начале зимы. Заметив Гелин оценивающий взгляд, мама сказала:

— Заячий тулупчик.

Они взяли огромное ведро и пошли по узкой межсугробной тропке к территории, которая разделяла Двор надвое. Сараев был целый ряд. Мама открыла весомым ключом висячий замок. В сарае были навалены черные поблескивающие кучи. Мама стала наваливать их в ведро.

— Куски привезли большие. Надо колоть, но некогда, — сказала мама.

На обратном пути на тропке встретилась женщина. Из-под белого платка у нее виднелись волосы, неотлично похожие на содержимое ведра, — воронье с блеском.

— Вот кого я тыщу-миллион лет не видела, — сказала женщина. — Приехали? — это относилось к присутствию Гели. — Как там дела?

— Плохо, Светуля, — сказала мама. — Счет на часы пошел.

— Ну, хоть попрощаться успеют, — сказала Светуля, закуривая папиросу. — А я сегодня во вторую смену.

— Счастливо, — сказала мама.

Пожелание счастья в связи со второй сменой казалось насмешкой. Во вторую смену она ходила с Тоней в тугоровскую школу, и ничего, кроме спотыкающегося возвращения впотьмах, из этого не извлекла.

— На понеси, — мама поставила ведро на снег.

Геля попробовала браво поднять его одной рукой, ведро повело ее в сторону, и Геля соскочила с тропки и ткнулась в сугроб. Мама засмеялась — незнакомо, внутренне.

— У меня завтра день рождения, — сварливо сказала Геля.

— Я помню, — мама подхватила угольное вместилище. — Но ты же видишь, что у нас.

— Ты почему сюда переехала? — спросила Геля. — Возле реки жить лучше.

— Мы с отцом развелись, — сказала мама. — Это результат обмена.

Геля хотела расстроиться, но подумала, что не сейчас. Когда они вернулись, тень деда молчала.

— Уснул, — сказала Бабуль, засучила рукава кофты и проворно, как Поля, растопила печь.

«Полю с Тоней надо было взять с собой», — мелькнуло в голове Гели. Но она тут же сообразила, что им здесь нет места — не в этом странном жилище, а в этом городе, в этой второй смене.

Из приземистой двери на них выдвинулся человек. Все стандартные характеристики типа «брюнет», или «молодой», или «невысокий» отметались его основным свойством: он был горбун с выпяченной грудью, точно под ней прятались латы, и ростом не так уж и выше Гели. «Конек-горбунок», — подумала Геля.

— Привет, Костя, — сказала мама, совершенно не удивляясь. — А это Геля, моя дочка. Я тебе говорила.

Горбун кивнул и протянул Геле руку — белую, будто в бинтах, гибкую и с пальцами, как у марсиан в одной книжке. Геля опасливо взяла протянутое. Рука была влажной, но не потно, а как плохо вытертая после мытья.

— Хочешь рыбок посмотреть? — спросил Костя немного сдавленным и дрожливый голосом.

Геля кивнула. Она хотела не рыбок, а показать, что не боится горбатых. К тому же посещение соседа отдаляло пребывание рядом с тенью.

— Если не возражаете, — добавил новый сосед, обращаясь к маме.

Мама подтолкнула Гелю к Костиной двери.

— Она только что из деревни, — сказала мама. — Не видела ничего.

Геля слишком устала, чтобы опротестовать мамини слова. Она видела многое — например, Брянский лес. Из-за двери раздавались гудение и струение. Вдоль всей

стены, разделявшей их квартиры, сверкали, показалось Геле, линзы, как в Москве. Только за ними находились не телевизоры, а плавали рыбы. Видимость была такая четкая и полноцветная, что Геля зажмурилась. И только подойдя вплотную, разобрала, что рыбы помещены в стеклянные незакрытые ящики с водорослями и камнями и освещены мощной лампой. Геля еще ничего не слышала о бустрофедоне, но отметила, что рыбные стаи в строгом порядке несутся от одного края аквариума к противоположному, неуловимо разворачиваясь, так что первая рыба становилась последней — и наоборот.

— Это аквариумы. Красиво? — напрашивался Костя на похвалу.

— Да, — сказала Геля осторожно, еще не разобравшись, как к этому относиться.

— Я тебе потом про всех расскажу. Они интересные, — пообещал горбун. — В каждом аквариуме своя порода.

— Когда — потом? — поинтересовалась Геля, не понимавшая этих откладок.

— Когда у вас все утрясется, — сказал Костя, кивая на стену.

— А что у нас трясется? — спросила Геля. — У нас дед кричит. Вам слышно?

— Мне нормально. А они нервничают, мечутся, — кивнул Костя на аквариумы.

— А вы кто? — спросила Геля.

— Я на заводе работаю, — сказал Костя. — И учусь на заочном. На математика.

Геля не знала, какое такое заочное, думала, от слова «очень».

— У меня по арифметике не очень, — сказала она, надеясь попасть в такт.

— Я помогу, — отозвался Костя.

Еще в углу Костиной комнаты Геля заметила красную лампу и диковинное оружие.

— Это бачок для проявки, — сказал Костя. — Я фотографирую немного. По-любительски. «Зорким-4».

— Я пойду, — сказала Геля, вдруг осознав, что так тяготит ее уже давно. — Где у вас туалет?

Бабуль говорила, что не надо стесняться задавать такие вопросы, потому что терпеть вредно.

— За сараями, — сказал Костя. — Но ты одна не ходи. В кухне ведро стоит.

— Я на ведро садиться не умею, — сказала Геля.

— Ничего, научишься, — засмеялся Костя грудью, и Геля поняла, откуда у мамы взялся ее новый смех. — У меня отец с матерью в один год умерли, — прибавил Костя. — Привык. И ты привыкнешь.

— Я не хочу привыкать, — крикнула Геля себе под нос, боясь напугать рыб. — И жить тут у вас не хочу. У меня дом был сосновый. И стол как рояль. И рыб отпусти-те! На свободу!

— Они не могут жить на свободе, — продрожал голосом Костя.

Чтобы не заплакать, Геля выбежала через две двери. За третьей, ведущей на крыльцо, нашарила чей-то таз с тряпкой и наконец присела. Тряпка глушила звук и впитывала жидкость. Геле стало намного симпатичнее. Она поразмышляла, что теперь делать с содержимым таза, ничего не придумала, оставила так и отворила третью дверь.

На крылечной лавке сидел, поджав ноги под себя, человек. Она так сама усаживалась, когда читала.

«Он все слышал!» — холодея, подумала Геля.

Человек ломко вскочил ей навстречу. Высокий, рыжий, в пиджаке на голое тело и галошах на босу ногу.

— Все мелифлютика! — крикнул человек весело шатким голосом.

Геля намеревалась отступить, но таз за дверью остановил ее. Погибель от безумных рук казалась неминуемой, но на крыльцо вдруг вбежали две фигурки. Одна была мала, а другая — малой по колено.

— Аркаша, вали с нашего крыльца! — бесстрашно крикнул маленький побольше.

— Вали! — повторил маленький поменьше. — Флютика!

Рыжий сумасшедший прыгнул, прыгнул в снег и побежал к воротам, задирая ноги, точно по горячим рассыпанным блинам.

— Ты, что ли, жить будешь у нас на коридоре? — спросил побольше, натужно забавив фальцет первой ступени.

— Коридоле, — отзвучил поменьше.

Наученная Люськой историей с пóльтами, Геля не стала поправлять.

— Я — Геля, — представилась, чтобы закрыть тему грамматики.

— Геля! — радостно прокричал совсем маленький подвластное ему сочетание звуков.

— Я — Валерка, — солидно сказал старший. — А это Юрка, брат мой.

— Леля и Люля, — подхватил Юрка.

— Меня из-за него теперь все Лелей дразнят, — досадливо сказал Валерка. — Как девчонку.

— Вообще Лель — это мальчишка, — поделилась Геля. — Он пастух.

— Это когда было? — заинтересовался Валерка.

— Давно. В сказке про Снегурочку, — пояснила Геля.

— Расскажешь? — Валерка блеснул глазами, снял варежки, зажал их между подбородком и шеей и мгновенной судорогой языка облизал ладони. Он был смуглый, с белыми потеками на скулах. — У меня руки сохнут. Витаминов.

— У Лели люки, — грустно включился Люля.

— Ты Аркашу-мелифлютику не бойся. Он не тронет. Он дурак.

— Сумасшедший? — уточнила Геля

— Не, — авторитетно отрицал Валерка. — Малахольный. А раньше инженером работал.

— А где он живет? — спросила Геля.

— У него дома нету, — сказал Валерка, изо всех сил продолжая нагнетать басовитость. — Он везде живет. Иногда у нас на крыльце ночует.

Вышла Бабуль, очень бледная.

— Пойдем, деточка, — сказала она ровно. — Дед умер.

— У-у-уме-е-ль... — потрясенно повторил Люля.

Ворота, ведущие во Двор, словно самопроизвольно открылись, и в них въехал ГАЗ-51. Слава увидел Бабуль и Гелю и замахал им. Фургон разгружали незнакомые солдаты под руководством военпредов. Вещи свалили в сарай, немного подвинув кучу угля. День рождения пропал.

Похорон Геля не запомнила вообще. Ни действий, ни людей. Только как мама ела с военпредами картошку с селедкой и смеялась внутренним смехом. Только закрытый простыней трельяж — тройное зеркало, которым мама гордилась. Только стол в центре комнаты, на котором стоял гроб. Геля так и не взглянула на деда — не нашла в себе сил. Краем глаза подметила, что он снова обрел форму и перестал быть тенью. Круг, занимаемый похоронным столом, Геля тщательно обходила по периметру целый год, не заступая в центр.

II

Снова была вторая смена и раннее потемнение. Геля от тоски стала писать в тетрадках справа налево, продолжая следующую строку по-нормальному. Учительница Анна Ивановна, пожилого возраста, вызвала маму, и та просто сказала после разговора:

— Ты что, с ума сошла? Как Мелифлютика?

Такая перспектива Гелю ошарашила. Она хотела быть интересной, но не сумасшедшей. Принялась писать, как все. Скучала. Бабуль, между прочим, отдала Аркаше-Мелифлютике дедово пальто, кашне и ботинки.

Самым страшным зверем в новом классе был психопат Семенов, который бил девочек, приговаривая с южными шипящими:

— Как же я вас ненавижаю!

Опробовал эту традицию и на Геле, подстерег в соседнем парке. Геля хлопнула его портфелем по спине и бросила в него ледышкой. Семенов подкошенно свалился под фонарь и затих. Прохожие констатировали:

— Уделала хахаля!

Геля знала, что в таких случаях вызывают «скорую», и побежала к телефону-автомату, которым уже научилась пользоваться. Автомат имелся возле дома на Карлушке, и они с белесым Водищевым, разжившись двушками, набирали произвольные номера и говорили незнакомым людям в трубку глупости, мстя за все козни взрослых. Пока бежала, Семенов исчез с места происшествия. По ноль три ей не поверили, и никто не приехал. Но в школу пришел отец Семенова, и Гелю разбирали на собрании.

— Мальчик нервный! У него хорея! — кричал Семенов-отец.

Анна Ивановна его охлаждала:

— Девочка сложная. У нее обстоятельства.

В классе Гелю зауважали, а Семенов перестал мучительствовать. Но ей было все равно. И города она почти не замечала, хотя мороженое продавалось в киоске прямо у стен школы. В стаканчике по тринадцать копеек, в брикетике, шоколадное, по пятнадцать.

Смерть деда раскрыла в ней много дурного. Внешне Геля странно подзамерла, затаилась, но изнутри ее разрывало нечто неумное. Бабуль никогда не произносила «кошелек», и Геля с наслаждением украла из ее потертого портмоне (только так!) мелочь, благодаря чему с малорослыми братьями сходила на фильм «Малыш». В Геле закрепились мужские вариации прозвищ — Лель и Люль. Все говорили, что Чарли Чаплин — это очень смешно, но смеялся только Люль, вследствие чего обдурялся и обратно путь проделывал в мокрых штанах, нимало, впрочем, этим не смущаясь. В другой раз, когда разжиженное после оттепели месиво таяло и чавкало в башмаках, внушая надежды на респираторное заболевание и домашнюю отсидку, перед не спешащей к учебному просвещению Гелей брела медленная от старости старушка. Ее кирзовая сумка распоролась по шву на стыке с дном, и оттуда на свежий недолгий снег капали монеты — серебрушки с белыми проблесками и тусклые медяки. Геля подбирала их сначала без всякой мысли, особенно задней, и прятала в варежку. Накапало уже около рубля.

Это было богатство неслыханное — кормили в школе бесплатно, а сдача из толмачевской булочной составляла копейки, которые Бабуль позволяла не отдавать. Этих денег едва хватало на мороженое, которое особенно вкусным было в тридцатиградусный мороз, когда уроки аннулировались. От прочного, как кирпич, брикета весело и коротко взламывало зубы и лоб и гарантированно начиналась двухнедельная ангина. Каждое утро Геля начинала с замороженного прослушивания прогноза

погоды по местному радио и беззвучно молила диктора понизить температуру до нужной для отмены занятий. Но диктор был непоколебимо честен.

Геля пронзительно понимала, что старушку надо догнать и деньги ей вернуть. Именно эта очевидность делала поступок запоминающимся. Геля резко повернулась, прошла полквартиры назад и свернула на Комсомольскую. Там, на пересечении с Советской, находился книжный магазин, куда она заходила почти каждый день по пути в школу или из школы и обозревала полки. Книг ей теперь не покупали, и она довольствовалась сарайными, взрослыми.

Чувствуя себя преступной, но абсолютно бесчувственной, Геля зашла в книжный и небрежно махнула пальцем на лежавшее ближе других, манящее, явно детское, с красивым рисованным фонтаном на обложке издание. Стоила книга целое состояние — двадцать две копейки, но цена Гелю не остановила. Продавщица безразлично продала товар, хотя Геля была уверена, что она поинтересуется, откуда такие деньги у неработающей девочки. Книга, которую Геля прочла за оставшуюся дорогу, оказалась про Ленина. Судя по всему, других в магазине и не водилось. Фонтан помещался в городе Женеве, где жил мальчик в матроске и пускал кораблики в том самом фонтане. Его отец, революционер, встречался у фонтана с Лениным, которого почему-то никто не узнавал. Это обстоятельство уже удивляло Гелю в некоторых кинокартинах. Ленин сказал мальчику заветное слово, и тот стал комиссаром. Все это было мало занимательно, и Геля оставила книгу в парте, надеясь, что ее кто-нибудь подберет.

Но в первую смену в их классе учились десятиклассники, которых такое чтение не прельстило, и на следующий день книга лежала на первоначальном месте. Геля несколько раз перекадывала ее на самые видные участки, но всякий раз находила там, куда положила. И чем дальше книга выказывала норы, тем больше Геля понимала, что прощения ей нет и старушка будет преследовать ее всю жизнь. Стыда при этом никакого не ощущалось, но неопределенная тягота и желание от нее избавиться не проходили. В конце концов книга куда-то задевалась, но старушка продолжала преследовать Гелю. Снилось бредущей по чистому полю, и Геля никак не могла ее догнать — даже приблизиться, чтобы вернуть деньги. Во сне она понимала, что денег давно нет и снова выйдет обман, но старушку напористо наступала, выбиваясь из сил.

Гелю крепко встряхнула встреча с Мужиком. Одноклассница Таня Рындина жила тоже на Карлушке, но далеко от Гели: улица была длинная, пересекавшая весь город. Геля до школы ходила по Советской, а обратно — с Таней по Карлушке. Расстояние примерно одинаковое, но Таня полдороги все же составляла компанию. День прибавлялся, толчками и неохотно. Весна не шла, и, по сути, мало что изменилось со времени побивания портфелем нервнобольного Семенова, только стало грязнее. Бабуль разуверила Гелю, что хорей — вариант холеры.

— Пляска святого Витта, — Бабуль знала дореволюционные наименования заболеваний. У нее была старинная книга, но Геля ее не рассматривала из-за картинок с прокаженными, в связи с которыми, укладываясь спать, боялась поворачиваться к стенке. Теперь Бабуль спала вместе с Гелей на тахте, а книга вместе с другими валялась в сарае, и бояться было нечего, но память подпитывала старый страх, а история с обкраденной старушкой вконец расшатала нервы. Мужик вывернул на них на площади Ленина, практически у поворота на Карлушку. Он был в белых бурках, как и, судя по фотографии, дед носил «довойны». Таня жила на углу, и до дома ей оставались считанные шаги.

— Слышь, девчонки, — приветливо, но приглушенно сказал Мужик. — Вот пятьдесят рублей. Это по-старому пятьсот. Раз задую — и все.

Опытная Таня рванула с места и через полминуты скрылась в своей подворотне. А Геля знала про денежную реформу, которую носили еще в Туторовском дед и Бабуль, но ей ничего не было известно про то, что именно Мужик собирается задуть. Смысл предполагаемого действия, оцененного в такие шальные деньги, доходил до нее медленно, как весна до города, где она теперь жила, и дошел окончательно только тогда, когда Мужик нашарил ее руку, свободную от портфеля, и приложил к нижней пуговице своего пальто, очень похожего на дедово. Под пуговицей что-то двигалось и росло так бурно, что ширина пальто не могла этого скрыть. Геля руку вырвала, но ее и саму вырвало на Мужика и частично на себя. Мужик замешкался, вытираясь, и Геле этого хватило, чтобы перебежать на другую сторону — к автобусной остановке. Она никогда не пользовалась транспортом, но на остановке были люди — много людей. Геля кое-как оттерлась снегом, ее внесло в подошедший автобус, и она судорожно оглядывалась — не успел ли сесть обрыганый ею Мужик.

Геля боялась зайти в ворота — вдруг он уже поджидал ее в потемках с пятидесятирублевой бумажкой, но, на счастье, наружу вывалились пьяные Водищевы, чья дверь выходила на улицу, и с неразборчивой песней двинулись во Двор. Геля обрадовалась им и проскользнула на крыльцо, обмирая от препятствия в виде трех дверей, лишь последняя из которых вела домой.

— Господи! — сказала Геля на манер Бабуль. — Помоги! — и, закрыв глаза, вырвала дверь из коробки. Дальше, до кухни, движение пошло легче.

В кухне оказался Костя, который почти туда не выходил, готовя еду на плитке в комнате.

— У меня пецилия родила, — сильнее от счастья дрожащим голосом сказал он. — Хочешь посмотреть?

Геле было неловко обижать Костю, но ей немедленно пришло в голову, что у него тоже может вырасти, зашевелиться и оттопыриться, и, помотав головой, она ринулась в свое жилище. Ее корежило, как при начале болезни. В Костиных рыбах она уже разбиралась достаточно, и пецилия действительно была прекрасна, горда и всегда взволнованна.

— Померяй температуру, — сказала Бабуль, считавшая градусник лучшим лекарством.

Температура была выше, чем можно мечтать, а это значило, что в ближайшие минимум три дня выход на улицу будет закрыт теми же тремя дверями.

Из страха столкнуться с Мужиком Геля не зафиксировала и первой городской весны. Когда в школу уже ходили без пальто, но еще не принимали в пионеры, а страх не до конца обмелел, мама уехала по турпутевке в Польшу. Турпутевку ей помогли добыть вездесущие военпреды. В пионеры приняли автоматически. Геля на другой же день забыла надеть галстук. Анна Ивановна неожиданно не поддержала созыв по такому поводу совета отряда, председателем которого назначили дочь большого начальника Галку, вопреки птичьему имени напоминающую скорее молочного поросенка.

— Пионеры-герои умирали, но не снимали галстук, — гнусаво, точно Гуня, сказала Галка.

«А если бы сняли, остались живы?» — хотелось осведомиться, но предпочтительнее было промолчать.

Иногда в ней срабатывал инстинкт самосохранения. О нем она узнала от Кости. Про смерть, как теперь представлялось Геле, она знала поболее отличницы Галки, которую привозили в школу на черной «Волге».

Из содержимого чемоданов, по возвращении из Польши вывернувших нутро по всему дому, Гелю заинтересовал предмет самый мелкий, но не имеющий цены —

шариковый карандаш. Тонкий, как игрушечная сабелька сиротки Козетты, болотного немаркого цвета, с золотым ободком округ разъема, с синей мазучей пастой внутри стержня, похожего на молодой картофельный росток. Понимая подспудно всю бездну риска, Геля не удержалась и принесла драгоценность в школу.

Наслаждение длилось в течение одного урока. На первой же перемене, вырывая двойной цилиндрок друг у друга, беспрерывно и беспардонно его развинчивая и свинчивая, одноклассники принялись испещрять все вокруг иероглифами и зигзагами. Классный шут Сережа Туренко, задрав форменный, только что введенный в школах темно-синий пиджак, густо татуировал драгоценной пастой свой тощий живот, выкрикивая в экстазе шаманские заклинания. Геля, уже фактически смирившись, ждала спасительного звонка и появления Анны Ивановны. Но одновременно с ее появлением волшебная капсула была повержена под многочисленные парные ноги и с хрустом расчленена на невосстановимые фрагменты. На парту Геле был свергнут пустой стержень с засунутой в него спичкой и следами зубов: кто-то обкусал пластиковую трубочку сверху донизу.

Геля почувствовала, что стержень, заполненный живоносным составом, вынут из нее самой. Безмолвно собрав растерзанный портфель, где, по всей видимости, искали продолжения поживы, Геля прошла мимо ошеломленной Анны Ивановны, никем не остановленная, покинула школу и тихо побрела по улице, не поднимая глаз от трещин на асфальте и стараясь на них не наступать. Из-за несчастного карандашика бадминтон Геля пропустила. Он в ее поле зрения даже не попал. Остался лежать в черном чехле среди подарков из ограниченно дружественной Польши.

Гелю вызвали к директору Колчигину. Голос у него был хриплый, как у Данилы, но костюм пригнан по фигуре.

— Вот дело что! — прохрипел занятой Колчигин. — Ты распорядок не нарушай — пиши пером. Нам капиталистические штуки не нужны. Прочти три раза «Моральный кодекс строителя коммунизма» — он на лестнице висит. Потом перескажешь содержание. Ближе к тексту. Домой не пойдешь, пока не выучишь.

«Моральный кодекс» Геля прочла единожды, ничего не запомнила, но Колчигин о пересказе забыл. Геля подождала возле кабинета, поковыряла стену в марсианских разводах и пошла себе домой.

На следующий день после шариковой трагедии возле школы она увидела отца. После смерти деда Геля ни разу не вспоминала о нем — большая потеря поглотила меньшую. Отец был высок ростом. Геля подняла глаза и увидела, что у него на куртке сломалась молния, и он грубыми мужскими стежками пришил металлические крючки и петли. Ее пронизало чем-то острым, словно рыба кость. Наверное, это и была жалость, которой раньше Геля не испытывала, но повторяла это испытанное слово, как и другие, подражая взрослым. Она не знала, чем помочь отцу. Сама не заметив, вложила руку в его ладонь, и они в молчании двинулись по улице. Отцовская рука подрагивала, и Геля поняла, что он немного выпил. Но она уже знала, что человек такой, какой он пьяный, а отец не шатался и не падал, зато купил ей мороженое. Оно таяло от вспотевшей руки, зажимаемой отцовской, и Геля перемазала школьную форму, без того ежедневно страдавшую от мела и тряпки, которой стирают с доски.

Мама устроила истерику, как выражалась Бабуль, когда кричали и не могли остановиться.

— Он меня мучил, ревновал к каждому столбу! Ты — предательница!

Бабуль тихомолком гладила Гелю по коленке под столом. Это означало, что отвечать не стоит. Но отвечать не стоило никогда, и Геля об этом прекрасно знала. Дальше пошло еще скучнее.

— Неблагодарная! — кричала мама. — Ты почему в бадминтон не играешь? Я его на последние деньги купила! А отец твой любимый алиментов не платит!

Про последние деньги говорилось чуть не каждый день, при этом покупались продукты и наряды для мамы. А что такое «алименты», Геля не знала, но теперь собиралась выяснять.

— Я не умею, — сказала Геля касательно бадминтона.

— А что ты умеешь? Двоечница! — кричала мама. — Будешь все лето математикой заниматься!

«Скоро лето!» — подумала Геля и стала вспоминать Туторовское, Брянский лес и деда в белой куртке, которую он называл каким-то яблочным словом «тужурка», и легкой шляпе в сеточку.

Когда истерика более-менее улеглась, Геля осторожно взяла чехол с бадминтоном и неслышно вышла во Двор. Она хотела спрятать его понадежнее, но не отыскала хорошего места.

— Чего это у тебя? — шустро подлез Колян Водищев.

— Так, — сказала Геля неопределенно.

В строгой иерархии Двора она уже заняла свое место. Двор говорил на том же языке, что и Туторовский, сильно переучиваться не пришлось. Процесс возрастал многоступенчато. Учитывались происхождение, родственные связи, степень неподчинения взрослым законам. Необходимым условием приобщения и последующего посвящения было отсутствие жадности. Но всякий, успевший произнести: «Сорок один — ем один», освобождался от повинности, заключающейся в опережающей формуле: «Сорок восемь — половину просим». Варианты считалки про зайчика — любителя прогулок — тоже повторялись. Попав в больницу после роковой встречи с охотником, в одном случае зайчик совершал действия криминального характера («он стащил там рукавицу»), в другом выявлял признаки дистрофии («оказался он, как спица»). В общем, по части фольклора Геля не подкачала.

Делиться едой ей, не знавшей нехватки при дедовской запасливости, труда не составляло, книги никого особенно не интересовали, но хорошие истории и умение их складно излагать котировались высоко. И хотя Гелю из-за Бабуль и ее всем «вы» ранжировали по ведомству интеллигенции, присутствие во всех проказах и хулиганских выходках допускалось. А это было уже весьма немало!

Геля достойно проявила себя еще зимой, когда с обочинного сугроба, нашвырянного лопатой с жестяной насадкой при чистке асфальта, надо было попасть ледышкой в проходящую машину, и Гелин бросок угодил точно в лобовое стекло «москвича», мгновенно пошедшее трещинами, как замерзшая лужа, по которой ударили пяткой. Фокус состоял в том, чтобы успеть скатиться с сугроба и перекатиться под ворота. А там уж ищи-свищи и попробуй доказать. Водитель вбежал во Двор, когда группа вандалов мирно сидела на Гелином крыльце и голосами подпольщиков пела «Взвейтесь кострами».

— Убью, гад буду! — сказал водитель, оценив обстановку, уразумел, что докапываться бесполезно, и сплюнул.

Слава говорил, что у «победы» позднее зажигание, и Геля раскусила эту метафору ночью, когда на нее накатили раскаяние и страх.

— Не вертись, деточка, — сонно сказала Бабуль.

Но Двор безоговорочно признал Гелины заслуги, и она шагнула на следующую ступень архаровской табели о рангах.

Каждое лето отличалось каким-либо маниакальным пристрастием, обычно сопряженным с разной степенью самоубийственности. Одно лето было пистонным.

Пачки бумажных пистонов, кружочком с коричневой родинкой под пергаментом в середине напоминающих конфетти, закупались в течение учебного года и береглись от сырости. Стреляние из игрушечного пистолета, приспособленного под это изобретение, считалось неоправданно трудоемким. Пistoны ценились за самодостаточность. Набрав обломков кирпича, пistoны раскладывали по бордюрам и шарахали по ним, стараясь попасть в центр. Очень эффективно было садануть по кружочку молотком. Особо меткие коротко придавливали пистон ребром монетки, особо мужественные — ногтем, а особо безнадзорные бегали на вокзал и раскладывали пistoны по рельсам. Запахом бертолетовой соли были пропитаны одежда и волосы, а синеватый дым не успевал рассеиваться до возвращения родителей с работы.

Неустранимая тяга к оружию не зависела от пола и толкала на экзотические, при этом беззатратные изобретения. На карандаш наматывалась половинка новогодней открытки, один конец которой загибался и закреплялся проволокой. С противоположной стороны засыпалась и плотно утрамбовывалась марганцовка, после чего дырка заматывалась проволочными остатками. В небольшое отверстие по центру вставлялась спичка, поджигалась, и сооружение резко отбрасывалось подальше. Взрыв производил впечатление настоящего и сопровождался историями об оторванных пальцах и вытекших глазах.

Другое лето выдавалось карбидным. Карбид добывали на стройках, где газосварщики вытряхивали его из баллонов, нимало не заботясь о последствиях. Вонял он смесью тухлого яйца и съеденной головки чеснока. Но искупалось это погружением подожденного рахат-лукумного, словно бы обсыпанного сахарной пудрой, кусочка в лужу с дымным, при этом сухим шипением и возможностью там, в луже, держать эту ценность в руке без страха обжечься ацетиленовым выделением. Стройки, свалки и гаражи вообще служили поставщиками счастья.

Третье лето выступало аккумуляторным. Из добытых пластин на костре выплавлялся в консервной банке сверкающий свинец, залив который в любую форму можно было получить на выходе все, на что хватало фантазии и мастерства, — от брелока для ключей до кособокого солдатика с воздетым мечом. Очередное летнее времяпрепровождение украшали обломки шифера, брошенные в костер и разлетающиеся из пламени заточенными уголками на смертельно опасные дистанции. Все это могло уложиться и в одно лето, но тогда бы наступила вечность. Вечность разверзалась в прогале так называемого свободного времени, обреченная на поражение борьба с которым изнуряла и повергала в прострацию. Карбид и аккумуляторные пластины создавали спасительную занятость.

Геле, насмотревшейся пиротехнических подвигов, скрученных летающих болтов и рогаток, прижигающих ляжки алюминиевыми подковками, и не представлялось, насколько ее положение возвысит обладание двумя тоненькими деревянными ракетками с узелками натяжки струн по ободу и перьевым рожком волана. Иная игра учит правилам сама, без подсказок извне, но отец, с которым они продолжали тайные встречи после школы, поведал ей, что в некое подобие бадминтона играли в Древней Греции, Индии и Японии и что именно японцы придумали ракетки. С отцом Геля впервые и попробовала перебрасываться воланом, для чего они удалились в парк на берегу реки, противоположном от дома, где протекали редкие и необратимо давние Гелины побывки. Отец теперь тоже обитал не здесь, но Гелю это уже не огорчало. Она усвоила, что перемены — дело обычное, из них состоит примерно половина жизни.

После арифметики главным мучением Гели была физкультура. Любые спортивные мероприятия вызывали у нее отвращение — не из-за неодолимости, хотя она так и не сподобилась взобраться по канату или перепрыгнуть «коня», а из-за

горького стеснения при переодевании на глазах у всех, необходимости приносить специальную одежду и обувь и бодрых покрикиваний и прикосновений плечистого преподавателя. Однажды он подхватил Гелю под мышки, помогая хоть на секунду удержаться на этом чертовом бессмысленном канате, и Геля вырвалась и убежала из спортзала. Не то чтобы она была категорически неспортивной — лыжи и велосипед освоила быстро и достаточно (и то, и другое Бабуль, по счастью, не оставила в Тугоровском). Ее убивала публичность действий, которые казались интимными, и невнятность цели. Город по полной стоимости требовал расплаты за кончившуюся свободу, и Геля сопротивлялась, как умела — не повинуюсь.

Занятия в теплую погоду проходили во дворе, урок был сдвоенный, и переполненный мочевой пузырь потребовал облегчения. Геля заперлась на массивный крюк в уличном двухдверном сортире. Но чуть присела, как в безукоризненно круглую, какие остаются от сучков, но слишком для сучка большую дыру в стенке, разделяющей отсеки, показался мужской телесный шланг с малюсеньким отверстием. Шланг закачался, то сокращаясь, то высываясь на всю длину, а может, и не на всю, на уровне ее глаз, наливаясь силой и кровью. Едва преодолев искушение ударить по кишке ногой, Геля выскочила во двор, и сколько ни смотрела в сторону беленой дверцы, оттуда так никто до звонка и не вышел. По-видимому, маньяк караулил следующую жертву.

Хуже физкультуры был, пожалуй, медосмотр. Главным Гелиным желанием стало приобретение недуга, освобождающего от уроков физкультуры, желательно навсегда. О том, что недуг чреват множественными медосмотрами, она не думала, к тому же была основательно здорова.

Отец отошел от нее на приличное расстояние и сказал:

— Старайся отбить волан.

Сам встал боком и, подбросив конус в перышках левой, вытянутой правой с ракеткой послал его в сторону Гели. Она отбила. Отец подхватил передачу, и началась переброска, пока чудо с пробковой шишечкой на конце не упало — кстати, по отцовской оплошности.

Геля почувствовала, что настает ее настоящий звездный час, несравнимый с подлой забавой разбивания лобовых стекол.

— Мо-ло-дец! — сказал отец, немного запыхавшийся, по слогам. — У тебя реакция прекрасная.

Ему скоро надоело перебрасываться, и он стал рассказывать о том, что вообще-то в бадминтон играют с сеткой, как в теннис, и в этом деле есть свои мастера и чемпионы. Но сетка Гелю не интересовала. Ей нравилось, что волан улетает в открытое небо и игра это — небесная. И звук, излучаемый воланом при ударе о струны ракетки, один в один похож на название самой игры:

— Ббадд (подача) — минн (отбой) — тонн (прием)!

На обратном пути Геля вдруг призналась отцу, как писала в тетради зеркально и что из этого вышло.

— Это же бустрофедон, — сказал отец незнакомое быстрое слово, похожее на этикетку Бабулиного лекарства. Он не стал ждать встречного вопроса. — Так писали древние греки — одну строку справа налево, другую — слева направо, как мы. По очереди.

— Зачем? — вклинилась Геля.

— Чтобы не отрывать руки, перемещаясь на новую строчку.

— А откуда греки знали, когда в какую сторону читать? — осенило Гелю.

— Хороший вопрос, — одобрил отец. — Они писали зеркально. Прямо как ты. Только ты сама догадалась. И наш алфавит не симметричный, как греческий. Там шестнадцать читаются букв отраженно, — продолжал он, видимо увлекаясь. — И их подарил грекам финикиец Кадм.

— А остальные? — сообщила Геля, упустив спросить про Кадма.

— А остальные где-то добрали. Они и подсказывают, откуда читать. Впрочем, это не всегда важно.

— Как это?

Отец пожал плечами. Неответ взрослых, как усвоила Геля, означал обычно «подрастешь — поймешь». Это ее не устраивало.

— Грекам лень было нормально писать?

— Пожалуй, что и лень. Но не только. Они надписи высекали на каменных поверхностях.

— И что?

— А то, что резец каменотес держит в левой руке, а молоток в правой. Работа это тяжелая. Если выбивать справа налево, лучше видно всю строку. А потом правая рука развилась, и материал для письма изменился. Надобность в бустрофедоне отпала.

— Жалко! — искренне сказала Геля.

— Ну, почему? Весь прогресс построен на облегчении жизни, — сказал отец. — Тогда землю пахали на быках, потому «бустрофедон» и переводится как «поворот быка».

Геле жарко захотелось выучить греческий алфавит, но дедовы книги по-прежнему кисли в сарае. Геля сняла с гвоздика ключ. По дороге за ней увязались неразлучные Лель и Люль. Вместе они тяжело расковыривали забитые ящики, для чего пришлось одолжить у Усача ломик — разумеется, без спроса, дождавшись, пока он в своем сарае, наполненном инструментами, отвернется. Фанерная крышка подалась. Сверху лежали отсыревшие сказки Пушкина. Геля, балансируя на куче оставшегося с зимы угля, открыла книгу. Из нее выпал портрет принца Сианука, пострадавший значительно меньше сохранявшей его книги. Тома, лежавшие глубже, тоже покособились и пахли тиной.

— Ско-о-о-лько! — пропел восхищенный Лель, насколько знала Геля, не большой читатель, но по контрасту со своим ростом поклонник больших величин.

— Клиги! — с уважением сказал Люль.

Остаток дня они вытаскивали содержимое ящиков и раскладывали для просушки на скамейках, которых во Дворе было, как в небольшом летнем театре. Иногда в месте их скопления показывали кино про бактериологическую атаку, повесив экран на большую раму, а в промежутках скамейки использовались по прямому и косвенным назначениям — например, для беготни с перепрыгом. Страницы волнились наподобие шифера. Усач, которому они вернули ломик, как только он еще раз отвернулся, подошел, выбрал воспоминания маршала Буденного.

— Возьму на прочтение? — спросил он почтительно.

Геля охотно кивнула, лишний раз отметив, что Усач ходит на фотографию этого Буденного, как на собственную.

Наконец открыли энциклопедию, ради которой затевался сарайный подвиг. Больше никого книжный ассортимент особо не заинтересовал, и Геля с братьями понемногу перетаскали вынуженное домой. Они с Лелем носили стопками, а Люль — по две книги под мышками. Греческий алфавит выучился быстро. Писание бычьим маршрутом она не возобновила — привыкла уже обходиться данностью.

Скоро во Дворе и окрестностях сросшейся с ракеткой Геле не было равных. Гарик из Сто Пятого лично приходил сразиться с ней. Красавец Агламазовский

опозорился, уронив волан после ее неберущейся подачи, жестко нацеленной в грудь противника. Сама она отбивала подачу любой сложности, успевая на гепардовской скорости и растяжке метнуться в обе стороны или отбежать назад. Рубились до полной темноты. В глазах перед сном плавало жидкое стекло, и шея болела, как у висельника. Гелю устраивало, что бадминтон не нарушал двух главных условий — интимности и одиночества. Партнер находился достаточно далеко, чтобы посягать на тебя руками. Правда, с одиночеством вышла незадача. Как только Геля усаживалась читать добытую энциклопедию, в дверь всовывалась мокро-лохматая от беготни голова, и без обиняков и преамбул раздавался сакраментальный вопрос:

— Геля выйдет?

Это значило, что народ ждет явления королевы. Очередь за право стать ее бадминтонным визави росла день ото дня. Впереди было целое лето!

А когда оно неминуемо кончилось, Геля написала свое полное имя на тетрадке по русскому греческими буквами. Снова разразился скандал, и Колчигин сказал:

— Вот дело что! Исключить я тебя не имею права, но на второй год оставлю, если будешь выкрутасничать.

Геля насторожилась, но пришла к заключению, что учебный год только начался, и, пока подойдет срок исполнения угрозы, много всего произойдет, и Колчигин обещание забудет. Выкрутасничала Геля до следующего лета не больше и не меньше, чем обычно.

В центр она отправилась впервые после смерти мужа. Соседний магазин не в счет — он входил в границы освоенной территории. Магазин именовался по инвентарному номеру — семнадцатый. Кто-нибудь вбегал во Двор и истошно кричал:

— В семнадцатый колбасу привезли!

Все бросали стирку или карты, в которые резались под окнами Гуни, и бежали на угол Карлушки — бывшей Долгой, самой длинной и вечно грязной из-за оживленного движения, и бывшей Семинарской. Колбасу вывозили в торговый зал в огромном (Двор говорил: «огромном») контейнере килограммов на четыреста. Искусство состояло в выхватывании батонов из-под носа грузчика и пробегом к кассе, очередь в которую занимала самая расторопная из старух на всех. Колбасу различали «по вязочке». У «Докторской» были две перевязки наверху батона. У «Любительской» в искусственной оболочке имелся поясок. У «Чайной» — две перевязки посередине. Конечно, на разрез имелись различия по цвету и по жирности, но колбасу брали исключительно батонами и палками и резали только дома. Иногда грузчик Петр успевал объявить:

— Сегодня вся — «Докторская».

Тогда очередь раздражалась недовольством.

— Вязочки развязали заранее! Цена-то разная.

— Жулики! Хапуги ненаедные!

— Мало их сажают! Расстреливать надо.

Работников торговли дружно презирали, звали не иначе как «торгаши» и радовались каждому сообщению о постигшем их возмездии. Разница в цене составляла пятнадцать-двадцать копеек, а на вкус вареная колбаса была абсолютно одинаковая, а полукопченая случалась так редко, что вкус ее успевал испариться.

Из-за коллективистского и укрепленного полувекowym дефицитом обычая соседки практически не расставались. Хлебный — бывшая булочная Толмачева — находился за границей ойкумены, и туда бегала Геля. Прошлой зимой, когда хлеб исчез из свободной продажи якобы из-за неурожая, внучке приходилось выстаивать

по несколько часов, а то и в два захода, чтобы обеспечить их маленькую семью хотя бы на несколько дней. Эта странная неприручаемая, не умевшая подчиняться девочка безропотно несла бремя помощи. Носила воду и уголь, причем дворовая колонка часто ломалась, и за водой, тоже по несколько раз, приходилось идти на угол бывшей Покровской — с бело-голубым кафедральным собором ближе к набережной и готическим костелом ближе к Долгой — и возвращаться с передышками: ведро было слишком велико и тяжело для ее лет.

Хрущевское бесклетье осталось в памяти детскими слезами. Номер очереди писали химическим карандашом на ладони. Дети, умаявшись выстаивать, отпросились поиграть в снежки, благо соседи и тут присутствовали в почти полном составе. Варезки намочили, руки вспотели — и номер стерся. Злая посторонняя тетка, за которой пристроилась Геля, ее не идентифицировала. Ритуал очередности со всеми паролями и отзывами надлежало исполнять без выпусков и извлечений. Подойдя, внушительно осведомиться: «Кто последний?» Иногда в качестве проверки на лояльность очередь меняла пароли. Тогда на устоявшийся вопрос следовал провокационный ответ: «Последняя у попа жена». Надо было срочно переспросить: «Кто крайний?» Если в очереди находились мужчины, что бывало нечасто, можно было схлопотать сардоническое: «Крайние в футболе» или «Крайние мужик с бабой в постели, а тут каждый за себя». Предвосхитить все варианты было невозможно, однако традиции, как правило, не нарушались.

Если возникала необходимость отойти, правила хорошего тона требовали объяснения и обставления отлучки по всей форме: «Скажите, что я за вами». Не дождав-шись благосклонного кивка, надеяться по возвращении было не на что. Но, получив такой жест согласия, по возвращении надлежало сказать пароль: «Я за вами занимала», чтобы в идеале получить отзыв: «Да, лично за мной». Без этого «лично» очередник считался самозванцем и выдворялся без снисхождений. Система унижений, давно ставшая для взрослых синонимом обмирщенного смирения, ребенку давалась нелегко, к тому же он мог попросту перепутать фазы ритуала. Геле пришлось снова отползти в хвост, промерзнуть, пока очередь не втащила ее в надышанное помещение магазина, и свалиться с ангиной, чему, впрочем, странная девочка искренне радовалась. Хорошо еще, что военпреды часто ездили в командировки и привозили из Москвы продукты, в том числе и вкусные хлебобулочные изделия: в провинции в ту зиму в хлеб подмешивали горох и кукурузу, которой явно обреченный на заклятие правитель пытался заменить все сельское хозяйство. Словно на зло ему, некрасивому, нелюбимому — либо из абсурдного упрямства — кукурузу сеяли на Таймыре и Земле Франца-Иосифа и картинно удручались низкой урожайностью. По дворам развозили пайки на каждую семью: крупы, сахар, иногда даже масло. Это выручало, но чрезвычайно напоминало войну.

Собравшись наконец покинуть пределы Двора, она хотела в качестве предлога проводить Гелю до школы, но та наотрез отказалась. По природе своевольная, по мере приближения к пубертатному возрасту, девочка все неохотнее допускала вмешательство в свою жизнь. Она вовсе не намеревалась оскорбить взрослеющую девочку проводами, возвращающими ее в отжитое детство. Просто Гелина школа, бывшее Серафимовское духовное училище, располагалась вплотную со зданием Института, где прошло ее отрочество, наступила и мгновенно кончилась юность, — на пересечении бывших Дворянской и Большой.

Окна в Институте были навеки полузабелены. Но, забравшись на табуретку и поставив на «шухере» ответственную девочку, изредка счастливилось увидеть, как группки «серафимов» в фуражках с кокардами и шинелях с заложными под ремень книгами, что строго запрещалось правилами, с некоторой развалкой, зная,

что за ними наблюдают, вальяжно шествуют мимо Института. Пройдя, по их оптическому мнению, поле видимости, они припускали на рысях вперегонки, сбивая друг с друга фуражки и хлопая книгами по стриженым головам. Это наблюдателям можно было видеть хоть искоса, но еще явственно. Любимое словцо институток «обожаю» — с удвоенным «ж» — к «серафимам» не применялось. Над ними полагалось трунить и потешаться. «Обожаю» относилось лишь к нестарым преподавателям и самым хорошеньким пепиньеркам — воспитанницам педагогических классов, обрекшим себя на служение народу в земских школах по медвежьим углам.

Александринский Институт благородных девиц, как и все подобные заведения, был закрытым. Воспитанниц не выпускали никуда и никогда, и еженедельные свидания с родными происходили в присутствии классных дам. Лишь однажды, в декабре 1914-го, им велели одеться потеплее и вывели строем на улицу в честь приезда в город государя. Из высокого начальства один городской голова Потапов самолично периодически посещал Институт, и его стрелчатые усы неизменно вызывали тайные пересмеивания. В соседнем училище открыли госпиталь, но куда-то переселенных «серафимов» привели к родным стенам, и тогда институтки в первый и последний раз стояли с ними бок о бок. Государь награждал раненых, а потом вышел на крыльцо в накинута шинели и поприветствовал горожан. Потаповские усы торчали за августейшей спиной. Николай был невысок, но пропорционально сложен и мягко красив. Тогда, после первых поражений, уже повсеместно царили антигерманские настроения, и учитель математики, фамилию которого она напрочь забыла, поскольку математику ненавидела так же, как теперь Геля, вслух подсчитывал процент немецкой крови у всего Двора, а однажды сказал напрямую, почему-то со словоерсом: «От немцев не стало житья-с» — и испуганно метнул взгляд через плечо: начальницей института была остзейская немка Хеллерт, и ее, несмотря на величавую строгость, все тоже «обожжали». Немцев в городе было полно, и они никогда не вызывали у горожан никакого отторжения, а многие — так и сдержанное уважение.

Она решила, раз уж внучка отказалась быть ей спутницей, доехать на автобусе до площади Ленина — Пятницкой, заложенной перед первой революцией на месте крепостного рва, и уже оттуда пройти к резиденции первого наместника, которую другой государь, Николай Павлович, своим указом отдал под учебное заведение для дворянских дочерей и сирот. Ей помнилась чудесная, особо почитаемая народом церковь с колокольней во имя первомученика Стефана. Но Стефаниевской ее никто не звал — только Уткинской, по имени купца-благотворителя, лавки которого располагались совсем недалеко — на Гимназической. Особо благоговейные звали храм Богородичным: здесь находился чудотворный образ Заступницы. В начале тридцатых колокольню порушили тракторами, а храм, впрочем, сильно обветшавший, взорвали, объясняя это тем, что он якобы мешает движению. Движение составляли несколько выдержавших налогообложение извозчиков да пара «линкольнов», комично прозванных «всепогодными фаэтонами», для развоза советских руководителей и их жен. Но это она знала по рассказам и аналогиям — они с мужем тогда уже счастливо жили в другом городе той же черноземной благодатной полосы, и там средства передвижения были приблизительно те же и в таком же количестве.

Ее впервые привезли сюда, когда после смерти отца от скоротечной чахотки мать выхлопотала бесплатное содержание: отец носил звание народного учителя, к тому же был потомственным дворянином. Одиннадцать лет — почти предельный возраст для поступления, но после испытаний ее взяли во второй класс. В городе жила замужняя старшая сестра, потому и распределение произошло сюда,

в Александринский институт. Мать объяснила ей, что это заведение второго разряда, и поэтому мечтать о придворной карьере, как свойственно смолянкам, не стоит. Но с первых дней, когда она не просыхая плакала, скучая о родном доме, все вокруг мечтали только о придворных балах, знали поименно всех фрейлин и о каждой сплетничали в дортуаре — общей спальне на тридцать воспитанниц. Слезы в институте не поощрялись наставниками и вызывали насмешки однокашниц. Она долго не могла научиться спать в таком многолюдье, измучилась, похудела. Муж сестры, офицер-интендант местного гарнизона, носивший, как и городской голова, модные и еще не порицаемые молвой кайзерские усы и прическу бобриком, при полном параде явился к начальнице с прошением отпустить юную золовку на Рождество в их съемное, но уютное жилище неподалеку, на Дубовой. С тех пор как в Институте появились приходящие — своекоштные — воспитанницы, порядки несколько либерализовались, и начальница скрепя сердце разрешила новенькой в виде исключения провести два дня в семье, взяв с офицера все положенные клятвы и заверения.

Тогда-то, на рождественских гуляньях, она и увидела город впервые — ярко морозным, с выскобленными тротуарами, будто напрочь очищенным памятью от снежного покрова. Зато она в деталях помнила все посещенные маленькие царства потребления, словно бы не обращавшие никакого внимания на далекую войну. Улицу Гимназическую с пекарней братьев Толмачевых, где продавались, к ее изумлению, сахарные, обвалянные в какао «папиросы» и «спички». Улицу Базарную с колбасной Польшана, где за прилавком стояли румяные барышни в немецких капорах и передниках с рюшами. Универсальный магазин Рорбаха, по словам зятя, не уступавший ассортиментом Мюру и Мерилизу, где ее потрясла стиральная машина марки «Континенталь», а зять не мог оторваться от револьвера «байярд». Да и от самого дома армянина Шоршорова, почетного гражданина, в котором располагался местный Мерилиз, нельзя было оторвать глаз. Говорят, во втором этаже, в гостинице «Европейская», все было оборудовано по последнему слову техники: с водопроводом, канализацией, телефонами.

Эти блага прогресса она вкусила уже перед следующей войной, но очарования первой прогулки они были напрочь лишены — слишком изменился общий тонус. Прослушивание граммофона в музыкальном магазине «Пишущий амур» и посещение синематографа «Модерн» рядом с домом, где жила сестра, довершило набор впечатлений из разряда неизгладимых, после которых душу не обезображивают рваные шрамы потерь, но украшают нежные следы естественным образом прошедшей жизни. Так руку после ласки крупной собаки не уродуют следы укусов — лишь легкая и скоропреходящая гиперемия. На прощание они снялись втроем в модной фотографии Енкина.

Она провела детство в городе, куда более славном, чем этот, но негромкое провинциальное обаяние, изобильность и соразмерная компактность покорили ее навсегда. После достопамятной прогулки институтскую изоляцию она переносила уже не так тяжело, а весной, когда стало можно подолгу прохаживаться под руку с однокурсницами по саду, простирающемуся до реки, с закрытыми для посторонних купальнями, или по деревянным тротуарам внутреннего двора, у нее и вовсе отлегло с души. Училась она хорошо, хотя на золотой с бриллиантами шифр на ленте — наградной вензель императрицы, чье имя носил Институт, она не тянула. Геле, ее дорогой незабвенной Гелечке, напротив, пророчили не только шифр, но и золотую медаль, но Геля на это только смеялась, приговаривая: «Будет что предъявить в первую брачную ночь!»

Занятые в течение целого дня воспитанницы могли пошутиться только в дортуаре и на прогулках, и очень скоро они с Гелей искали для этого малейшую возмож-

ность, даже — чего уж греха таить — переглядывались со значением и во время общей молитвы в домовой церкви во имя мученицы царицы Александры Римской. Ухитрялись и во время музыкальных занятий в сельюльках — маленьких комнатушках наверху — обмениваться знаками, которые понимали они одни. В сельюльках, рассчитанные едва на одну ученицу и преподавателя, под неизменным предлогом: «Хотим послушать, как вы чудесно играете», которые неизменно же до покраснения баварского носа льстили самолюбию смешного и трогательного Граверта, набивался весь класс, так что делалось нечем дышать. Они с Гелей поклялись, конечно же, в вечной дружбе, которую не разрушит никакое замужество и материнство. А именно на эту стезю бестрепетно направляли их наставницы, почему шутка Гели насчет первой брачной ночи не была пустой.

Однажды ночью она проснулась оттого, что соседняя, Гелина, кровать тряслась и клацала панцирной сеткой. Спальные места отделяли друг от друга тумбочки, на которые разрешалось ставить воду и класть Евангелие. Достаточно было свеситься с одной кровати, чтобы беспрепятственно дотянуться до другой, но это строго воспрещалось. Ночная воспитательница спала за легкой занавеской в общем дортуаре и вскакивала на любой шорох, боясь потерять место. Ради бесшумности она спустила ноги на пол и на корточках присела у Гели в головах, думая, что ее во сне мучает кошмар. Легко тронула завернутую в кокон одеяла фигурку:

— Гелечка, что ты?

Геля повернулась к ней, выпрастывая из кокона лицо, мокро блестящее в темноте, и страстно зашептала:

— Мы преступницы! Нет нам прощения!

— Милая, да что случилось?

— Народ... — Геля захлебнулась рыданием. — Народ страдает! Я в отчаянии!

Она обняла дрожащий сверток со спрятанной в нем подругой, сидя в самой неудобной для объятий позе, с уже затекшими икроножными мышцами и застывшими ступнями, и горько заплакала из солидарности со страдающим народом и печалующейся о нем подругой. Заснули они только под утро, вышептав весь пропагандистский арсенал проклятий сатрапам.

Дойдя до здания, где теперь разместился тоже институт, но со строчной буквы, который окончила ее дочь, она дополнительно вспомнила многие детали. Скелет собаки и летучей мыши в кабинете биологии. Чучело колибри с потускневшим оперением. Прибор для свечения электричества в закрытом сосуде. И, конечно, волшебный фонарь с картинками, которые демонстрировал им, часто облизывая губы, коллежский советник Вернандер. Вспомнила идеально отмытую фаянсовую посуду в столовой. Ей не хотелось заходить внутрь, но интересно было по расположению окон угадывать, где помещался танцкласс, где библиотека. Им позволялось строго по списку читать «Домашний быт русских цариц» Забелина, а также историю Карамзина и Полевого. А они хотели глотать выпуски «Пещеры Лейхтвейса», Ната Пинкертона и другие дешевые книжки издательства «Развлечение», а не лакированную разрешенную Чарскую и писать друг другу забавные посвящения в альбомы. Далекое от нормальной жизни и ее повседневных противоречий, институтки совершенно не понимали, о чем идет речь в комедии Гоголя «Ревизор» и где обитают подобные уроды. Их окружали красивые благородные люди, цельные и самоотверженные. Они жили в раю, но рай — место посмертия, и расплата за перенесение обители блаженных в неположенное место была страшна.

Нашла она и окно дортуара, и почему-то именно оно привело ее в такое волнение, что пришлось положить под язык таблетку валидола. Теперь трудно представить, как сочетались в Институте одновременно спартанские и совершенно оранжерейные

условия. С одной стороны, ежедневная часовая гимнастика, вечером массаж, который они делали сами себе по инструкции на бумажке, бесконечные стояния в институтском храме, а то и довольно чувствительные удары линейкой по спине — чуть ссутулишься или примешь фривольную позу за партой. День говорили по-немецки, день по-французски, но при этом безупречную линию держали на горячий русский патриотизм. С другой — полнейшая девственность в вопросах практической жизни, а уж тем более политики. Даже занятия кулинарией носили безнадежно архаический характер, и ни одно из зачетных блюд, особенно после революции и разрухи, они никогда не приготовили и не подали своим чудом уцелевшим избранникам. На уроках словесности из Пушкина заучивали только про дворового мальчика и свободную стихию, а «Евгений Онегин» считался произведением чуть ли не безнравственным, и они с Гелей тайком ночами прочли роман в стихах, принесенный кем-то из своекоштных, и были страшно разочарованы поведением Татьяны, считая ее ханжой. Слава богу, пришло предписание начать обучение воспитанниц стенографии и машинописи. Это многих впоследствии, когда знание иностранных языков было предпочтительнее скрывать, спасло, без преувеличения, от голодной смерти.

Лютеранка Хеллертша, как ее звали за глаза, истово следила за их религиозным воспитанием. Добрых три четверти девочек были, естественно, православного исповедания. Иконы в вестибюле с неизменно навощенным, опасным для хождения паркетом приглашали развешивать монахинь из близлежащего монастыря. Сделать это служителям мужеского пола воспрещалось во избежание соблазна. Хеллертша, следившая в Институте за каждой мелочью, то и дело поправляла монахинь, явно разбиравшихся в иконографическом составе удовлетворительнее, чем она, приговаривая:

— Лучше бедно, чем плохо.

Это была ее любимая поговорка. Старшеклассницы утверждали, что в незапамятные времена в биографии начальницы имел место роман с городской легендой — знаменитым хирургом Икавицем, доктором медицины, много лет возглавлявшим губернскую земскую больницу. Он одним из первых в империи провел кесарево сечение, открыл фельдшерскую и акушерскую школы и больницы для неимущих, которыми тоже заведовал и неусыпно их опекал. Аскет и анахорет, Икавиц не только не приобрел собственного дома, но и квартиры не нанял. Так и жил при больнице, сутками не покидая операционной. Представить, что у этого подвижника, настоящего святого, с кем-то, тем более с пышногрудой и при ближайшем рассмотрении усатой Хеллертшей с пенсне, подпрыгивающим на груди, вздернутой корсетом до шеи, случился роман, не хватало воображения, хотя начальница — единственная кандидатура, которая была бы ему под стать. Она тоже никогда не покидала институтских стен. Открытая веранда ее небольшой квартирки летом была сплошь увита цветами, и весь двор до поздней осени, когда отцветали астры, флоксы и георгины, также утопал в цветах.

Иногда она смотрела на внучку глазами своей классной дамы, Марии Владимировны Маховой. От того, как Геля сидит, ходит, ест и говорит, Махова пришла бы в ужас, а может, даже упала бы в обморок. Но нынешней девочке предстоит жить в нынешнем мире, с которым она пока что и так не очень ладит. Та, другая Геля, услада сердца, а даже и само сердце ее институтских лет, тоже не была идеалом. Любила позлословить, пропускала под предлогом дамского недомогания банные дни и тайком даже от нее жадно поела в постели сладости. Но любовь не ищет идеала — она выстраивает его. Память сохранила лучшую музыкантшу Сою, зубрилу Катю, добрую и наивную, как котенок, у которой беспардонно списывали все нерадивые, независимую полячку Марысю, кокетничавшую даже с проходящим

ксендзом. Но именно Геля осталась в памяти эмблемой юной, не лишенной страстности, но по сути невинной дружбы. И не чья-то, а именно ее судьба, в отличие от других девочек, канувших в прорыв катастрофы, прошла перед глазами и до сих пор отдавалась болью где-то за грудиной.

Изолированный и дистиллированный институтский мир практически не затронула Великая война. Только у одной воспитанницы был тяжело ранен старший брат, подпоручик, и все горячо молились о его здравии, но к раненым, которые страдали по соседству, в Серафимовском училище, и которых они рвались обихаживать, девушек так и не подпустили. В арсенале Марыси было замечательное польское слово, которое они произносили как русское причастие: «выщеканая». Означало оно бойкость, нелазанье за словом в карман, то бишь быстроту ответной реакции, и умение постоять за себя и свое мнение. Самые выщеканые, конечно, кивали на великих княжон, щипавших корпию и посещавших госпитали вместе с августейшей матерью. На это Хеллертша спокойно отвечивала: «Что позволено Юпитеру...» — и прерывала фразу Публия Теренция Афры, не доходя до вола, лишь многозначительно поглядывая на крепенькие фигурки подопечных.

Никто из них и отдаленно не подозревал, какие тектонические разломы ждут их самих и близких. Газеты в Институт не приходили, политинформация не проводилась. Только однажды пронырливая Геля добыла где-то листок с удивительной по содержанию публикацией архиепископа Кирилла, которого девочки видели на чтениях в честь столетия Феофана Затворника, тоже когда-то бывшего местным епископом. Владыка Кирилл, красавец, влюбил в себя всех институток, и многошепотное «обожаю» сопровождало его посещение и долго не стихало в спальне.

Заметка была ответом на ура-патриотический выхлоп какого-то болвана. По редкости явления печатного слова в стенах обители блаженных она запомнила высокопреосвященный ответ почти наизусть: «Милостивый государь, господин редактор. В № 194 Вашей газеты помещена заметка под названием „Излишняя скромность“ с требованием более или менее шумных проявлений народного чувства по поводу успехов русского оружия на бранном поле. Автор жалеет об отсутствии флагов на улице и желает трескотни ракет и иллюминаций. С чувством глубокой скорби прочитал я эту заметку и протестую против ее содержания всем своим существом.

Слишком серьезное время переживаем мы, чтобы можно было думать о рукоплесканиях и потехах. Глубоко верим, что Правосудный Господь пошлет и воинству нашему, и Родине всю полноту радости окончательной победы над гордым врагом; но об этой радости надо неустанно молиться, необходимо готовиться к ней как к великой Святыне, во всей сосредоточенности народного духа; должно заслужить эту радость подвигом общего труда и жертв, а не бесчинными кличами и расслабляющими зрелищами. Придет время — мы будем засыпать цветами обратный путь с поля брани наших доблестных воинов, мы не только флагами уберем свои дома, но готовы будем одежды свои подостлать под ноги наших героев; но теперь, теперь пока время думать о скорейшей замене продырявленной пулями рубашки, о корпии и марле для перевязки ран, о мягкой подушке под израненную голову. Прошу Вас, милостивый государь, письмо это как противоядие легкомысленной заметке, давшей повод к его написанию, поместить в ближайшем номере».

Но, как бы то ни было, война продолжалась — под нечеловечески популярную мелодию «Прощания славянки», сочиненную местным штаб-трубачом. Иной раз после свиданий с родней в дортуаре шептались о приближающейся революции, но очередное утро снова начиналось с молитвы, гимнастики, потом шли своим чередом занятия танцами и ординарные уроки. Какая революция?! Это казалось эпизодом французской истории, не более того. Самым ужасным несчастьем представ-

лялся порванный чулок или растрепавшаяся коса. И сам владыка не мог представить, что не будет цветов, что флаги сменяются, а одежды изнасятся до ветоши.

В феврале семнадцатого им приказали построиться в вестибюле. Хеллертша, в прекрасно пригнанном платье, с безукоризненной прической, только припудренная чуть гуще обычного и в пенсне, водруженном на нос, обычным прямым голосом объявила:

— В России произошла социальная революция. По этому случаю мы идем на демонстрацию.

Надевая шубки и ботики, все тихонько хихикали над начальнициним произношением, но радовались неожиданной прогулке вне стен Института и воображали, как встретятся с «серафимами» или, чего доброго, с курсантами Пехотной школы и, вполне возможно, успеют обменяться с ними красноречивыми взглядами, а то и записочкой. Самая остроумная из воспитанниц, Соня Чичерина, заметила, что в слове «демонстрация» начальнице слышатся «демоны». Распускать языки никто не боялся — доносительство в Институте категорически не поощрялось. Однажды новенькая девочка наябедничала классной на подобные словесные упражнения. Хеллертша вызвала ее, отрезала: «Доносчику — первый кнут» (она произносила: «доношчику») — и лишила свидания. Ябеде устроили в классе длительный бойкот, и ей пришлось перевестись в другой Институт.

Из всей «демонстрации» запомнился заунывный предвесенний ветер, слезящиеся глаза, не слыханное в здешних лесостепных местах множество матросов и красный бант на по-прежнему высокой против законов анатомии груди начальницы, тоже порождавшей немало острот. Уже через год матросы перестанут удивлять, и единственной задачей станет избежать с ними встречи — особенно в наступившей внезапно кромешной темноте, никогда не рассеивавшейся, словно городская электрификация не была делом усердия стрелоусого Потапова, а таинственно зависела от самовольной сухопутности вчерашних покорителей морских стихий.

В течение еще целого года жизнь шла почти обычным манером. Только стали чуть хуже кормить, и от обилия в рационе пшена некоторые растолстели и принялись налегать на гимнастику пуще прежнего. Через много лет, хлебнув лиха в свою меру, она поняла, чего стоил Хеллерт этот бант на вздернутой груди и вся митинговая затея. Начальница хотела только спасти своих девочек и сохранить в неприкосновенности их стерильное существование. Единственный раз институтки видели ее слезы — в день отречения государя. Красные заняли город в марте восемнадцатого. Через неделю, оставляя на паркете борозды, будто плуг прошелся, а не человеческие сапоги, в Институт ввалились люди в кожанках, матросы и китайские наемники из заградотрядов и приказали воспитанницам и наставникам убираться на все четыре стороны.

К сестре переселилась мать. Их родовой город был сначала занят немцами, а теперь, после подписания Брестского мира, и вовсе отходил другой стране. Муж сестры, после долгих препирательств с командованием наконец выпросившийся на фронт, пропал без вести. Но сестра не унывала. Сначала по неведомой протекции сама устроилась в отдел продовольственного снабжения, а потом устроила туда и их с Гелей: красным требовались стенографистки и машинистки. Геля, кроме подслеповатой тетки, родственников не имела и о своих родителях никогда не говорила. Благодаря сестре, которой оказывал явные знаки внимания кривоногий начпрод, все как-то прокормились тот страшный год, когда кровавыми клочьями отлетали по одному признаки прошлого. Добрались ли другие девочки до своих имений и что их там ожидало, можно было лишь гадать, но догадываться не хотелось. С тех пор качество жизни ухудшалось неуклонно — с коротким перерывом, выпавшим на начало тридцатых,

когда казалось, что все налаживается, а потом города начали пустеть, как магазинные полки. Но с обвальным крушением восемнадцатого не сравнится, конечно, ничто. Автор «Прощания славянки» между тем сделался дирижером чекистского оркестра.

Однажды весь отдел — по одному — вызвали к комиссару и настоятельно порекомендовали вступать в партию. Немедленного решения не требовалось — большевики еще не вполне освоились с ролью властителей. Она поделилась новостью с матерью. Та покачала головой и сказала:

— Не стоит, деточка. Все еще не раз переменится.

Отговорилась молодостью и неготовностью к столь высокой ответственности. А мать как в воду смотрела. В августе девятнадцатого без единого выстрела город занял 4-й Донской корпус генерал-лейтенанта Мамонтова. На самом деле фамилия его писалась через «а» — Мамантов, от мученика Маманта Кесарийского, передвигавшего верхом на льве, но такие мелочи ни тогда, ни впоследствии никого уже не занимали. Пятнадцатитысячный гарнизон красных, завидев участников конного рейда, разбежался, словно орава мальчишек из сада при появлении сторожа. Лошадей не хватало, и часть разбегающихся дунула пешим ходом.

Организованно отступали только латышские стрелки, но на выходе из города их остановил пулеметный огонь с колокольни кладбищенской церкви: по латышам дупил настоятель храма. В ответ по колокольне долбили из винтовок, пока огонь не захлебнулся. Тело священника сбросили вниз, в иконостас швырнули гранату, как будто стреляли из деисусного чина. Батюшку донцы похоронили с почестями. Мамантовцы рассчитывали на восстание крестьян против «поработителей», но местные мужики отличались хитростью и терпением и гостей покуда не поддержали, а восстали позже и по собственной, ненавязанной воле.

Мамантов въехал в город на «роллс-ройсе». Его хлебом-солью и поясными поклонами встречали рабочие вагоноремонтных мастерских: они зарабатывали по триста рублей в месяц и успели понять, что теряют. В воспрянувшем было городе поговаривали, что brave донцы пробудут недолго, и эти слухи тоже скоро подтвердились. Перед походом на Москву корпусу требовалась передышка. Закрепляться здесь Мамантов не собирался. Они с Гелей, не зная, как себя вести, с утра пришли в отдел и уселись за свои «ремингтоны». Как ни странно, помещение не пострадало, и относительный порядок сохранялся. Вскоре послышались шаги, и в комнату, цокая шпорой о шпору, вошел красивый офицер.

— Пгиветствую милых багышень, — сказал он, дореволюционно картавя и светски улыбаясь. — Пгошу сохганять спокойствие. Его пгевосходительство вскоге пгибудет с пговежкой. Это чистая фогмальность. Вам ничего не уггожает.

Действительно, буквально через несколько минут в комнату со свитой вошел статный генерал с несколько удивленным лицом и усами до плеч. Он кивнул барышням, достал из кармана белоснежный платок и с нажимом провел им по полкам. Внимательно взглядевшись в результат «пговежки», брезгливо бросил платок на пол.

— Какую должность занимали при большевиках? — спросил генерал.

— Машинистки продовольственного отдела, — хором пролепетали они.

Генерал кивнул — впрочем, неодобрительно — и покинул помещение. Она успела заметить, как картавый офицер на прощание посмотрел на Гелю. Геля не была красавицей, но в довоенные времена куда выше ценился статус «хорошенькой». А под эту статью Геля подходила эталонно.

Следующим утром, когда она снова по привычке явилась на службу, Геля с восторгом рассказала, как адъютант Мамантова подстерег ее возле теткиного дома с огромным букетом. Выпытать адрес было несложно — в городе почти все друг друга знали.

Через три дня окончательно выяснилось, что корпус покидает город. Передышка кончилась. На прощание казаки раздали горожанам запасы с продовольственных складов и казнили самогонщиков и торговцев спиртом, пытавшихся спить донцов, а также китайцев, которые при первой смене власти зверствовали особо изощренно и хладнокровно. Люди носились с огромными кулками конфет, мешками сахара и коробами печенья. Геля забежала на Дубовую и сообщила, что уходит с казаками.

— Это любовь, — беспечно сказала Геля. — А с любовью не шутят.

— Это война, — попыталась урезонить ее сестра. — С войной уж точно не шутят. Все только начинается.

— Оставайтесь, если вам угодно, — огрызнулась Геля. — А мне хочется мир посмотреть. Я шесть лет в тюрьме провела.

Под тюрьмой разумелся институтский рай. Они простились холодно. Про обет верности Геля явно не помнила, да и не до обетов было в новой ситуации.

Красные вернулись. Обыватели болтали, что был суд над трусами, оставившими город на произвол судьбы, но ради спасения престижа армии виновным никого не признали. В эти дни она познакомилась со своим будущим мужем, мобилизованным в зажиточном поволжском селе, за грамотность взятым в штаб и таким образом оказавшимся ее начальником. Основам стенографии обучать его пришлось срочным порядком. Учеником он оказался на редкость схватчивым, но стенографией дело не ограничилось. На стенах и заборах появились листовки, подписанные Троцким, с неизменным воззванием: «Коммунисты, вперед!» Красные опасались зреющего крестьянского восстания, к идее которого мамантовцы мужиков лишь чуть подтолкнули, а пять тысяч продармейцев, грабивших зерновую губернию, в этой мысли укрепили бесповоротно. Когда она услышала и увидела на заборах то же самое воззвание: «Коммунисты, вперед!» в начале следующей войны, а после победы услышала в стихах с хорошим, крепким звуком, часто исполнявшихся по радио, а теперь и по телевидению, лишней раз подумала о том, что иные слова переходят из уст в уста, как легкокрылые женщины из рук в руки.

Со штабным ухажером они успели уже тайно обвенчаться в одной из деревень, пережить невыносимо сладкий медовый месяц, когда штаб перебросили ближе к фронту. Город остался в глубоком тылу и начал помаленьку опоминаться. Она проснулась от царапанья в окно, решила, что это кошка, и шикнула на нее. Царапанье не прекратилось, и она нехотя встала. За окном стояла Геля, повязанная диким на ее бонбоньерной головке бабьим платком. Несомненность видения беззаботной подруги была такова, что остатки сна выпрыгнули из головы и раскатились по полу, точно порванные жадной рукой бусы. Что такое жадные руки, она теперь знала. Гелина тетка умерла голодной зимой, хотя они с сестрой ее подкармливали, чем могли, в ее дом вселили партработника, и деваться Геле было решительно некуда.

— Осторожно, я во вшах, — с прифронтовой хрипотой сказала Геля, когда все проснулись и засветили лампу.

Мать велела дочерям выйти и стала обирать с Гели паразитов, крупных, темных, как чечевичные зерна. Нагрели воды, кое-как помыли ее и уложили. Свадьба с красным командиром спасла хозяев дома от уплотнения, а их самих — от лишних вопросов и повышения квартплаты. Через день Геля заболела. То есть она, конечно, пришла уже инфицированной, но болезнь словно ждала момента, чтобы накинуться на человека, слегка отмытого, относительно сытого и потому расслабленного.

— Это тиф, — без сомнений заявила мать. — В комнату не входите, ешьте чеснок.

Чеснок и лимоны она считала панацеей, но лимоны по случаю революции исчезли, а чеснок по-прежнему, не сообразуясь с классовой борьбой, произрастал в хо-

зайском огороде. О том, что Геля умрет, она подумала дня через три, когда доктор Мордухович, пришедший по старой памяти осмотреть больную, долго протирал руки спиртом и сопел волосатым носом. До этого она видела только смерть от старости институтской собаки Дамки. При этом сторож Ибрагим убивался значительно громче и искреннее, чем девочки, для порядка, конечно, прослезившиеся и пошморкавшиеся в кружевные платочки.

Неотвратимость смерти начисто избавила от страха заразы, и она провела у Гелиной постели оставшиеся дни. Геля бредила и в бреду картавила, как ее неизвестно куда подевавшийся, а скорее всего, погибший избранник. За несколько часов до конца сознание ее прояснилось, и она прошептала:

— Хеллертшу расстреляли. Она с нами была. Ушла с нашим обозом.

— За что?! — вырвалось из сердца, как будто она не знала, что на войне убивают не «за что», а «потому что».

— За пособничество немцам, — слабо усмехнулась Геля.

Никаких немцев, кроме Икавица, так и оставшегося при больнице, в обозримых пространствах давно уже не было и в помине.

Геля умерла тихо, и смерть превратила ее было потерянную в скитаниях хорошенькость в дивную красоту, но та на глазах стала блекнуть, расплываться, как перепроявленное фото. Обмыли и обрядили Гелю своими силами. Сестра нашла на рынке Ибрагима, торгующего институтской фаянсовой посудой, и магометанин похоронил искательницу приключений в дальнем углу православного кладбища. Отпевание провели заочно, чтобы не привлекать внимания. Никто от Гели не заразился. Очевидно, горе вырабатывает более сильный иммунитет, чем любая вакцина. Сколько потом она ни искала могилу, найти даже следов всхолмия так и не удалось. А на кладбище с тех пор нашли покой и мать, и сестра, и вот теперь царицынский казак.

«Кажется, я и с этим начинаю смиряться. Слава богу за все!» — подумала она и поплелась обратно на Карлушку, бормоча: «Крестьян раскрестьянили, казаков расказачили, институток разынститутили, проституток распроститутили». Она понимала, что полуютчетливое бормотание под нос есть один из признаков старости, но это ее уже не расстраивало.

III

Сухой тополиный пух, заметаемый ветром во все углы, походил на пенку от варенья. Только очередность варки, вопреки изменчивости мира, хранила несменяемость. Первенство держала виктория. Созревание виктории и поступление на рынок ведрами и вроссыпь, как ничто другое, знаменовало полную победу лета. Зимой закупался сахар в его песчаном изводе. Накопить следовало приличное количество, сберечь кульки из темно-пегой бумаги от грызунов и подмокания, притом что в одни руки давали по два килограмма. Важнейшей деталью подготовки была чистка таза — в идеале медного, прошедшего закалку нескольких нагревательных приборов и минимум трех поколений варщиц.

Затем следовало смиренное пережидание, пока младшие наедятся сырой ягоды до отвала. Оставшееся после отвала мыли в трех водах, терпеливо сушили на полотенцах. На обрывание чашелистиков поднимали всех живых. Засыпали викторию собранным всеми правдами и неправдами сахарным песком и оставляли под теми же полотенцами, на которых она сохла. Больше всего Геля любила данный этап, потому что пресыщение как раз проходило, и по мере пускания сока можно было украдкой глотнуть на глазах пурпурнеющих ягод и вытереть с подбородка, пока не стекло на платье, капли тяжелого кровавого сиропа.

Викторию ни в коем случае нельзя было помешивать, но непременно потряхивать — иначе ягоды получатся не одна в одну и все пойдет насмарку. Главной целью варки — трехступенчатой, с дотошно хронометрируемыми перерывами — являлась первозданная целостность, неразваренность ягод, которые к тому же обязаны были сохранить природный цвет. Царицей стерилизации банок безоговорочно почиталась Бабуль. Варенье в банки не шлепалось, но ягоды плавно лились в лавине сиропа и укутывались одеялом, как простуженные. Собранный за время термической обработки запах струился из-под одеяла в течение суток. Никаких закатываний впрок Бабуль не признавала, твердо стоя на позиции разумной достаточности: варить столько, сколько в силах семья съесть за зиму. Ни единожды не разражалась катастрофа засахаривания или заплесневения, хотя банки закрывались всего-навсего бумажками, нарванными из Гелиных тетрадей.

За викторией следовала вишня. Членам семьи раздавались вымытые и облитые перекисью водорода головные шпильки — с непременно рассказом о золотой волшебной вишневой шпильке бабушки, утерянной силою исторической реквизиции. Под неторопливые разговоры, а к концу в полном безмолвии из вишневого мяса изымались косточки. Пальцы покрывались теперь вишневой венозной кровью, Геля старалась как можно дольше не смывать следов шпилечной расправы и ходила, как леди Макбет. Вишню в процессе сиропопускания можно было перемешивать. Ягода простая, северная, она, в отличие от виктории, капризами не отличалась, хотя варилась так же в три приема. Крыжовник, смородина и слива составляли промежуточный период, хотя варка желтой сливы завораживала Гелю последующим икряным золотистым желированием.

А вот изготовление варенья из ранеток, которые Бабуль и, как выяснилось, весь Двор неизменно называли райскими яблочками, пропустить было настоящим преступлением против себя же самой. Каждое яблочко прокалывалось по всей сердцевине обтертой одеколоном иголкой. Сироп варился отдельно с добавлением лимонной кислоты из квадратненьких бумажных пакетиков. Им, тщательно и бережливо собираемым половником по краям таза, ранетки поливались в течение всей варки. Но особую ценность представляли хвостики. Потеря хотя бы одного яблочного хвостика повергала Бабуль в отчаяние. И впоследствии есть это варенье полагалось приличным, держа плод за хвостик, хотя, надо признать, райские яблочки подавались только в особых случаях и только при гостях. Варенье это было прозрачно, как горный родник, а чистоплотное выплевывание зернышек и пленок в ложечку лишь добавляло старинного очарования. Яблочки выделялись мармеладной мякотью цвета фрез, похожей на подживающую после схождения струпа коленку.

Но особенно Геля любила варенье из айвы, привозимой азербайджанцами с маслеными глазами и халовой речью. С Гелиной младенческой оговорки пошло обыкновение называть его «айвинское». Жесткая и совершенно несъедобная в сыром виде, покрытая пушистым налетом, похожая одновременно на яблоко и грушу из папьемаше, айва поддавалась варке труднее остальных плодов. Она и резалась с мозольной натугой на обязательно крупные дольки в форме молодого месяца и варилась с ванилином, лимоном или корицей, а сироп делался из отвара кожуры. Бабуль утверждала, что айву нельзя употреблять певцам и ораторам, потому что от нее сохнет голос, но ни тем, ни другим Геля пока не стала, и ее больше поражало, как дольки, теряя шершавую желтизну, превращаются после Бабулиных манипуляций в рубиновые, матовые, облитые более светлым ферраллитным пламенем деликатесы. Самое интересное, что во Двор хлеб с вареньем не выносили. Высшим шиком и предметом зависти был ломоть, посыпанный сахарным песком, политым, в свою очередь, водой изо рта и от этого посеревшим и потяжелевшим.

На самом деле Двор начался с подвалов. Строений, его ограничивающих, было несколько. Основное, в котором жила Геля и Лель с Люлем, не обросло пристройками, исключая крыльцо, а сам нынешний Двор представлял собой усадьбу, где некий купец и его семья держали скотину, сад и огород, чаевничали и торговали. В процессе изучения выяснилось, что парадный вход укрывался в глубине Двора, с тыла, под ржавым козырьком, к нему вели каменные ступени, и заколочен он был намертво. Застройка из красного фигурного кирпича удостоверяла, что купец был состоятельный, хотя второго этажа в жилом пространстве не освоил. Но, может, он набегался по лестницам в бытность приказчиком. Или сдавал основной дом внаем вдовой капитанше, а сам занимал манящий воображение Гели смежный Сто Пятый. Это предположение строилось на отсутствии во Дворе помещения, могущего служить купцу баней. В общественные помывочные заведения приличное семейство не ходило. Но, возможно, баню свергли одновременно с купеческим сословием или в более поздних столкновениях.

Под лавку или магазин с конторой купец построил другой дом — там теперь пили Водищевы, и это строение как раз-таки обзавелось вторым деревянным этажом, из окна которого однажды выпал Федя — и ничего ему не сделалось. А для прислуги, бедных родственников и приживалов соорудил третий, который занимало семейство Новиковых. В подвалах же размещались склады и подсобки. Постепенно к служебному дому приделывались наспех спичечные коробки и скворечники — торговля росла вместе с обслугой, росла и семья по мере размножения. Вместе с разрастанием дела и семейства разрастались и пристройки, о красоте которых заботиться было некогда, а возможен и вариант развившейся с годами жадности владельца. Нынешние сараи, скорее всего, служили амбарами, содержащими предметы торговли и домашние заготовки. Самый завидный сарай, явно бывший ледник, гордо занимали Гурьевы. Он стоял отдельно от других, изнутри был обложен кирпичом, но не фигурным, а простым, и имел спуск вниз, так что дворовая легенда приписывала ему подземный ход.

Когда частновладельческое житие закончилось и во Двор хлынули новые жильцы, еще несколько коробков и скворечников окончательно обесформили контуры усадьбы, зато люди, согнанные с крестьянских подворий, получили кров. Да, распорядились им по-муравьиному, а что было делать и куда деваться? Фруктовый сад и огород остались и занимали правую часть дворовых задов, только раздробились и поделились заборами. Но вишней группы морель, темной, слаще черешни, и яблоками разнообразных сортов — от рыхловатого, быстро сходящего белого налива до мелкого сладкого пепина шафранного и сочного штрифеля — снабжали вороватую ребятню бесперебойно. На забор слева налегала растительность Сто Пятого, и всегда казалось, что вишня там гуще, а яблоки сочнее. Но по неписаному закону сад манящего дома обчищать было запрещено.

Подвал занимал весь периметр магазинной постройки и ее дополнений. На улице, непосредственно под Водищевыми, выходили подвальные окна, претерпевавшие от движения по Карлушке и природных стихий наибольший урон, вечно заляпанные и терпеливо отмываемые обитателями — Махой Кривой или ее дочерью с глазами на сильном выкате и прямо из этого исходящим прозвищем — Пучеглазая.

Гелю поначалу удивляло, что всех женщин старшего возраста во Дворе звали Мариями, а младших почти всех Светланами, в том числе крохотную изможденную мать Леля и Люля, один вид которой объяснял миниатюрность братьев-неразлучников. Мужчины при этом носили имена различные, хотя и заурядные. Потом она к такой особенности привыкла и запомнила прозвища, по которым распознавали носительниц. Прозвища были простые и логичные. Так, Гуня получила

звание из-за гугнивости голоса. Происхождение Чернильной уже объяснялось. Куряка, хоть и не единственная курящая женщина Двора, вероятно, превышала в своей зависимости пределы допустимого. Не удостоенных клички окликали по фамилиям.

До Карлушки Геля не знала и не подозревала, что человеческое жильё бывает, как в ритуальном песнопении про каравай, «вот такой нижины». Утром, когда на крыльце происходил общий сбор перед катанием на великах с гиканьем и переворачиванием на полном ходу руля, напротив открывалось подвальное окно, в нем показывалась Гуня и произносила неизменное:

— Драст, пажалста-а! Опять вся шепана тута. Твари!

В лексиконе Гуни наличествовали три формы человеческого падения. «Тварь» была самой безобидной и повседневной. Когда Гуня находила повод для усиления эмоциональной окраски, она произносила два слова как одно: «тварьфашист». А последней стадией служило уже утроение: «тварьфашистгестаповец». На первых порах Геле казалось, что во Дворе изъясняются на чужеземном языке, хотя сорта яблок составляли единственные иностранные заимствования в их словаре.

— Чего колготисся, колгота ты?

— А у тебе зять скабежливый?

— Ехай, не боись!

— Вся кофта в ошарушках!

— Чего лататы разложила?

— Ты посорма при детях не надо!

Неизвестно почему окончательно добывало Гелю колдовское «ищѣйшь». В период освоения Двора она спросила Бабуль:

— Почему они так странно говорят?

— Все люди говорят по-разному, — уклончиво ответила Бабуль, никогда не обсуждавшая чужое. — Ты же говорила: «Пидэм на вульцю».

Это был запрещенный прием, который применялся к Геле, как и к другим детям, регулярно. Она плохо помнила няньку-украинку своих первых лет, между прочим, тоже Марусю, бесследно потеряла перенятую от нее «пидэмнавульцю» и вынуждена была верить на слово поддразнивавшим ее деду и Бабуль. Вполне возможно, все это они выдумали для собственного развлечения. Постепенно дворовый язык сам собой открывался ей, как Миклухо-Маклаю. «Посорма» означало грязную брань. «Скабежливый» переводилось как брезгливый, а «колготиться», «колгота» — в общих чертах, схематически, как «суета сует». «Лататы», как и «ошарушки», могли обозначать самый широкий спектр предметов. «Нету» вместо «нет» уже казалось обыденным. Самое удивительное, что язык той же Поли, изученный до интонационных тонкостей, не представлялся Геле чужеродным. Видимо, дело во многом состояло в уровне любви, а любовь — дело постепенное.

На Кронштадтской, если не проворонишь, можно было застать выступление сапожника Лядова, потерявшего на войне обе ноги по самое, как он выражался, пинчекрякало. Слово Геле нравилось, пожалуй, еще больше «мелифлютики» и заворачивало сильнее, чем «ищѣйшь», хотя она приблизительно соображала, что это за такое пинчекрякало. Участковый Колобушкин, уважая фронтное прошлое, закрывал глаза на то, что сапожник принимал заказы на дому, никакую власть не спрашивая. Свой коронный номер Лядов исполнял в летний период, по воскресеньям, ровно в полдень, на полную мощь включая репродуктор и дождавшись пропикивания. К этому времени Лядов был пьян в самую изюминку.

Проживал он тоже в подвале, который внутри ничем не отличался по интерьеру от верховых жилищ, что чрезвычайно занимало Гелю, с тех пор как она там бывала. Полы как полы, подоконники как подоконники. Только видны из них не го-

ловы и плечи, а ноги проходящих. Ноги, отсутствующие у Лядова. А бывали она и Бабуль в комнате, совмещающей столовую, спальню и сапожную мастерскую, не однажды. Дело в том, что Гуня, недовольная качеством лядовской работы, умудрилась адресовать ему, герою войны, своего «тварьфашиста», и Лядов с тех пор категорически отказался обслуживать население Двора. Исключение составляла только Бабуль, или, как он ее называл, Бева.

— Бева пожаловала, — так и говорил. — Всегда к вашим услугам.

Соседи подсовывали Бабуль свою стоптанную обувь, и Лядов, конечно, не мог этого не понимать, но снисходил.

— Бева пролетариям услужает. Бева добрая., — заключал он, осматривая чью-нибудь безнадежную босоножку и добавляя совсем уж загадочное: — Изебровая.

— Что это значит? — спрашивала Геля.

— Просто — женщина, — смеялась Бабуль.

— На каком языке? — уточняла Геля.

— На лапландском, — лукавила Бабуль.

Она с Лядовым общалась диковинно, как ни с кем.

С последним радиосигналом сапожник влезал на подоконник и кричал:

— Минуточку внимания, граждане! Сейчас инвалид войны выкажет вам неприличие. Эта сторона улицы при артобстреле наиболее опасна. Нервных прошу перейти на другую сторону.

После чего Лядов виртуозно, на руках, поворачивался к улице тощим волосатым пинчекрякалом с заранее спущенными штанами и объявлял:

— Наша пехотная пёрка! — и выпускал длительный газ с неизменно низким тубным звуком.

Послушать Лядова всякий раз собиралась изрядная толпа. Издав фирменный звук, он абсолютно спокойно, с выражением выполненного долга разворачивался к зрителям лицом, подбирал штаны, захлопывал подвальное окно и уползал на свой рабочий табурет с сиденьем из широких брезентовых полос, образующих крупную клетку. Бесчинство по выходным ему прощалось, потому что он был единственным мастером на всю округу, и все носили его набойки и давили весом на его каблуки. Лядов был охальник, но уважение к святыням имел. На какой бы день ни выпадало девятое мая, он показывался в окне трезвый, с двухрядной хромкой, надетой, как делают опытные гармонисты при игре сидя и для форсу, — одним ремнем выше локтя. В этот день Лядов пел, не глядя на публику, куда менее обильную, чем на воскресном спектакле, но верную. Геле нравились его песни, особенно про неведомые галицийские поля, то есть про самого Лядова:

Ветер воет, ноги ноют,
Словно вновь они при мне.

Но с тех пор как девятое мая объявили выходным, Лядов петь перестал, правда, и газы в этот день принародно не выпускал.

Гелю поражала публичность жизни Двора и окрестностей, которую Лядов всего лишь доводил до абсурда. Всегда будто на сцене, всегда нескрываяемо на виду. Новиковы сдавали комнату передвижным циркачам, каждое лето гастролировавшим в городе. Это обеспечивало всем малолетним бесплатные представления. Но каждый шаг квартирантов обсуждался и комментировался, как футбольный матч. Маня Новикова становилась во Дворе самой популярной фигурой. Она развалисто выходила утром, когда старухи рассаживались вдоль Гуниных окон, вынеся две дополнительные табуретки для подкидного или лото. По правилам мужчины занимали стол в цен-

тре Двора, и белые карликовые конфетти лепились в их руках к черным доминошным шоколадкам. Но в качестве рыцарского жеста они иногда присаживались на старушечьей территории и, нещадно шлепая картами по табуретке, показывали класс.

— Ох, ну твою ж мать! — восхищались старухи.

Новикова не спешила огласить сводку новостей, показно зевала и поводила плечами.

— Ну, как там твои-то? — не выдерживал кто-нибудь повышено любопытный.

— Кто? — Новикова умело делала вид, будто не понимает подоплеку.

— Кто? Постояльцы, кто? — возмущенно вскидывались предвкусители.

Новикова поправляла волосы и проделывала еще ряд манипуляций, замедляющих действие. Наконец с ленивым достоинством удовлетворяла публику:

— Да что им? Нагримуются, как говны, и сидять!

Мама заболела длительно, и Геля успела привыкнуть к названию болезни — фибромиома — и имени лечащего врача. Тем более что имя было дворовое — Мария, только отчество диковинное — Эйвазовна. «Гормональный сбой», — повторяла мама за Эйвазовной.

— «Плохой кровоток в органах малого таза», «субсерозная», «субмукозная», — и другие научные слова.

Кроме слов, болезнь не выражалась, пожалуй, ни в чем. Лишь иногда за завтраком мама пугала Бабуль:

— Опять выделения. И на горшок вставала три раза.

Бабуль роняла чашку:

— Срочно оперироваться! Мария Эйвазовна настаивает. Чего ты ждешь?

Но было похоже, что мама по-своему гордится фибромиомой и не хочет с ней расставаться. На слова Бабуль она только смеялась своим загрудинным смехом. Так продолжалось до приступа, когда Геля увидела кровавую простыню, торопливо уносимую Бабуль, и услышала сдавленные подушкой мамы вопли. С врачом «скорой» долго препирались, куда везти.

— Только к Марии Эйвазовне! — в один голос твердили мама и Бабуль.

— Только по месту прописки! — твердил врач.

Маму увезли поле того, как Бабуль сунула что-то врачу в карман — наверное, записку Эйвазовне с подробностями. Бабуль тоже уехала на «скорой». Геля очень любила оставаться одна и рыться в маминых вещах, а проголодавшись, намазывать хлеб маслом и сверху класть толстый шмат колбасы, а не хлебать скучный суп.

Вернулась Бабуль затемно, и Геля поняла смысл выражения «нет лица». Вместо лица у Бабуль была белая маска, словно у немого Марселя Марсо, которого часто показывали в киножурнале «Новости дня».

— Операция не очень удачная. С осложнениями, — осторожно сказала Бабуль.

— Но Эйвазовна... Вы же так ее хвалили! — выступила Геля не без вызова.

Бабуль отмолчалась и предупредила:

— Я буду ночевать в больнице. Костя за тобой присмотрит. Кажется, начинается перитонит.

— Что это? — спросила Геля, расплывчато догадываясь, что ничего хорошего.

— Воспаление брюшины. Так бывает после операций, но достаточно редко.

— Она умрет? — после смерти деда Геля задавала этот вопрос при всякой опасности.

— Что ты, деточка! — без особого оптимизма воскликнула Бабуль и умчалась.

Геля всю ночь преодолевала комнаты взад и вперед, узнав, что такое бессонница. Косте она сказала, что присматривать до утра не надо, но дневной присмотр зятя-

нулся. Бабуль появлялась точно для того, чтобы Геля не пропустила изменений маски, которая день ото дня сминалась и блекла, но не отлипала от лица. Она жарила на керосинке срочную яичницу или делала те же бутерброды, только потоньше, и исчезала. За ее отсутствие Геля успевала нашкодить, но Бабуль не вдавалась в подробности.

— Когда меня возьмешь к маме? — спрашивала Геля, привыкая к одиночеству и участь наслаждаться им. Тревога посещала ее неравномерно и уходила не прощаясь.

— Она в реанимации, — без перевода отвечала Бабуль. — Пойдем к Тусе и Дусе. Я дополнительно нервничаю, пока ты тут одна.

Геля с неохотой переселилась в перекошенный дом. Дуся придиралась к каждой мелочи, но Туся ее обрезала. Из рояльной комнаты доносились залипающие белые звуки или однообразная скороговорка. В здешнем дворе Геля была чужой, и выходить туда слегка опасалась. В одну из ночей задумалась о том, как они будут жить, если мама все же умрет, и сделала заключение, что не пропадут. Изю всех сил она пыталась вызвать в себе приличествующую случаю скорбь, но не выходило. Что такое реанимация, Костя успел ей объяснить.

Бабуль наконец пришла со своим лицом и голосом.

— Слава богу! — провозгласила она. — Подумай! Оказывается, они зашили в полость тампон. Началось нагноение. Но Мария Эйвазовна настояла на повторной операции, все вычистили. Слава богу! Ее в палату переводят.

Геля не поняла почти ничего, но в ее сознании Эйвазовна заняла место Григория Львовича.

— Значит, она не умрет? — спросила Геля с некоторым даже разочарованием. Она уже распределила роли и правила их будущей жизни.

Назавтра Бабуль взяла Гелю в больницу. По дороге они зашли на базар и купили у торговки в белых нарукавниках сметану и творог. Кроватей в палате было много, и маму Геля узнала не так скоро, тем более что она сливалась с постельным бельем, как некогда дед.

— Вот тебе и дочку привели, — констатировала сидячая тетка с распухшими ногами.

Мама слабо замычала и улыбнулась. Улыбалась она редко — сразу смеялась всей грудью. Геля не знала, что говорить, и погладила маму по руке поверх одеяла.

— Не болей! — сказала она дурачки.

— У меня свищ не заживает, — плаксиво пожаловалась мама, и Геля отметила новое слово.

При выписке Геля и Бабуль пошли в кабинет к Эйвазовне, всучивали ей коробки конфет и чего-то еще. Бабуль кланялась и благодарила — видимо, за то, что мама все-таки осталась жива. У Эйвазовны было мужское лицо с ослепительно накрашенными губами. Как выглядит свищ, Геля увидела, когда перевязки стали делать дома — сначала военпреды возили маму по очереди в больницу. Свищ оказался дыркой в животе, ближе к пупку, в середине длинного шва. Выглядел он неаппетитно.

Подвал начинался сразу за воротами косым деревянным навесом и темными промозглыми сенцами, которыми кривая мать и пучеглазая дочь неприкрыто гордились. Потом загогуливался вместе со строением внутрь двора и образовал бы строгую букву «г», если бы не прерывался встроенным флигелем с заключенными в нем Гурьевыми. Завершался подвальный этаж странной конструкцией. Это был подвал без верха, самодостаточный, едва прикрытый проржавевшими листами жести. Точнее, не подвал, а землянка с наскоро оштукатуренными стенами. То ли верхний этаж сгорел, то ли давний купец держал здесь должников или буйных во хмелю. Когда в школе проходили «Детей подземелья», Геле в качестве иллюстрации виделся именно этот саркофаг.

Проживала в самодостаточном подвале тоже Маша — Гулящая, хотя по годам ее должны были бы звать Светой, с на диво пригожими детьми-двойняшками. Собственно, ее *гуляний*, как она это себе представляла, Геля никогда не видела. Маша никого не приводила и не провожала из своей норы. Говорили, что по ночам она уходит на промысел и оставляет детей одних, но ночные дежурства Геле запрещались, да и сон смаривал. Двойняшек все любили, нянчили, отдавали ношеное со своих детей и еду со своего стола.

В одно из утр велопробег намечался «на речку». Цель следовало обозначать исключительно таким сочетанием — ни в коем случае не «купаться» и не «на реку»: никто бы просто не понял, о чем речь. Люськины «польта» постоянно помогали Геле не опростоволоситься с момента обретения Двора, за что Геля была ей по-хорошему признательна. Лель подскочил, когда она подкачивала заднее, наиболее страдавшее от езды по колдобинам колесо. Велик стремительно старел, но замененные по случаю «нипелья» (только так, и никак иначе!) должны были по идее на некоторое время продлить его жизнь.

— У Гулящей двойняшек забирают! — выпалил Лель.

— Биляют! — подтвердил высунувшийся из-под его коленки Люль.

— Кто забирает? — поинтересовалась Геля, завинчивая колпачком, сбереженным в боях и походах, клапан.

— Комиссия! — не без пиетета сказал Лель.

Что на свете существует комиссия, имеющая право забрать детей у матери, Геле в голову не приходило. Ее даже милиционером не пугали, а уж Бабой Ягой — ни-ни. Не выпустив насоса с висящим на нем шланжиком, Геля побежала следом за братьями. У входа в подвал стояли неприятные тетки, а перед ними на коленях — Гулящая.

— Христом Богом, — говорила Маша через равные промежутки. — Христом Богом!

— У вас условия неподходящие, — заученно говорила одна тетка.

— И поведение, — ехидно поддерживала другая.

— Христом Богом! — продолжала свое Маша.

К мутным окнам прилепились двойняшки. Нежданная Бабуль, ни разу не принимавшая участия в дворовых распрях, подошла сзади.

— Товарищи! — сказала она непривычно. — Что же это вы делаете?

Вокруг сгрудились остальные Маши, Мани, Махи и Маруси.

— Отошли все! — злобно сказала одна из теток.

— Я тебе отойду! — пригрозила Гурьева. — Ты у меня шас так отойдешь!

— У нас на руках решение комиссии по делам несовершеннолетних, — сказала тетка, хотя руки ее были заняты потертой сумкой.

— Я твою комиссию вертел, — сказал пьяный Вилька Гурьев, первым из мужчин решившийся на противостояние.

— Сейчас милиция приедет, тогда повертишь, — отбрила его другая тетка.

Во Двор тут же въехал милицейский газик, откуда неторопливо вылез участковый Колобушкин. Не обращая внимания ни на собравшихся, ни — внешне — на теток с решением, он напрямик спустился в подвал и вышел, неся на каждой руке по ребенку. Как много раз замечала Геля, когда в дело вступала власть, все застывали, словно в игре в «замри», в той позе, в которой их застала команда. Так было и на этот раз. Просто теток властью не признали, а Колобушкина признали давно. Только Маша проползла на коленях до машины и стала биться головой о бампер.

— Ляди! — нежданно громко сказал Люль одно из тех слов, которое он мог произнести почти без звукового урона и которое все в тот момент молча думали.

Тетки с облегчением промяли собой заднее сиденье. Колобушкин, передав им детей, безмятежно сел за руль. Газик вздрогнул и уехал в открытые ворота. Маша

безгласно упала и осталась лежать на земле. В этом месте Двора трава не росла. Женщины поднимали Машу, она падала несколько раз, наконец удалось оттащить ее в пустой подвал.

На речку поехали нестройно и без охоты. При одном из ныряний в Гелину коленку впилась острая ракушка, рассадив кожный покров и пройдя почти до кости. Коленку замотали Лелевой майкой. Крови почти не было, но по дороге рана загнойлась, майка была испорчена, и Леля до конца дня оставили под домашним арестом, который поневоле разделял с ним Люль. Крохотная мать никогда сама с ним не гуляла. Бабуль после промывания применила к ране еще одно свое волшебное неизменное средство — коллодий, белой пленкой стянувший рассечение.

Геля, ослабшая после процедур и повышенного внимания в своем страдании, заспалась и появилась во Дворе, как раз когда из подвала показались оглобли носилок, обхваченные идущим спиной к ним санитаром. Рядом стояла машина «скорой» военного цвета. Тот же кучный круг смыкался подле нее. Все трудоспособные, видимо, снова работали во вторую смену, потому что в толпе обнаружилось несколько Свет, печник Новиков и его дети — Жирный и Светка, братья Водищевы и Леха и Вилькой, по очереди сосавшие пиво из трехлитровой банки. Газик с Колобушкиным точно и не уезжал. На носилках что-то лежало, накрытое простыней, и равномерно выдвигалось наверх, пока не показался на противоположном конце второй санитар. Маленькие Лель и Люль вертелись под ногами у носильщиков, так что один из них выкрикнул:

— Отвали, мелюзга!

Лель и Люль брызнули в толпу и очутились близко к Геле.

— Гуляющая повесилась! — прочастил Лель.

— Ты ее видел? — сердце Гели затарахтело, как велосипедное колесо, в которое для имитации мопеда вставили прутик.

— Ага. Мы успели, когда ее вынимали. У нее язык вывалился. И обоссалась вся.

Геле мучительно хотелось подробностей, но не такого рода. Других у Леля не было.

А над подвалом повисло проклятие. После Маши туда вселилась престарелая пара. Старик Мигулин — пьяней вина — свел под руку вниз слепую жену, и ее больше никто не видел до той поры, пока не пришла труповозка. Мигулин выпил на помин души бутылку растворителя и последовал за супругой. Подвал постоял пустым, заходить туда никто не решался даже при игре в казаки-разбойники. А потом низину заняла цыганка Лидка с цыганятами, и отличие ее имени от женской дворовой одноименности уже не сулило ничего хорошего.

Ночью после Маши Геля пила много воды из кувшина, которым очень дорожила мама, садилась к окну, упиравшемуся зимой в стену, а летом в сад, единственному, которое можно было оставлять открытым: в него не летели с Карлушки гарь и машинный гул. В саду кто-то ходил, но этого Геля уже не боялась.

— Ляг, деточка, — воззвала Бабуль с тахты.

— Меня у вас не заберут? — спросила Геля, как маленькая.

— Что ты! Мы тебя никому не отдадим.

— Маша тоже не хотела отдавать, — возразила Геля.

— Они слабых любят, — сказала Бабуль.

— А мы сильные? — не поняв, спросила Геля от противного.

— Ну, все-таки, — неуверенно протянула Бабуль. — Бедная женщина! Некому ее было защитить.

— И нас без деда некому, — сказала Геля то, чего говорить было не надо.

— Бог оборонит, — сказала Бабуль. — Ложись. Завтра пойдем на базар.

В общем и целом лето шло своим чередом. После знойного мая, когда еще надо было необъяснимо ходить в школу, и Бабуль не успевала стирать пропотевавшую форму, сваливался бесконечными дождями холодный июнь, но следом снова наступала жара, другая по сравнению с маем, стойкая и казавшаяся бесконечной.

Бегали в кинотеатр «Звезда» на первые сеансы по десять копеек. В малозаполненном зале обязательно отыскивался хоть один объясняющий. При малейшей неуспеваемости происходящего на экране, самоничтожной загадке сюжета или прихоти камеры из полутьмы, к которой уже привыкли блестящие глаза, раздавалось три варианта, неизменно относящиеся к женским персонажам.

— Это она вспоминает... — как правило, адекватное объяснение параллельного действия.

— Это ей снится... — как правило, на экране действительно воспроизводилось сновидение.

— Это она представляет... — любая абстракция, не имеющая к действию прямого отношения.

Гелю эти реплики успокаивали и примиряли с жизнью за пределами кинозала. Все непонятное она истолковывала себе, исходя из этой напоенной полутьмой триады.

Речка и велик оставались неизменными атрибутами лета до самого конца августа, когда предательские образы школы непрошено вторгались в сон. Геля с Лелем повадились выпрашивать лоскутья черной кожи, из которой в низкопотолочной мастерской рядом с костелом шила сапоги офицерам артель глухонемых. Лель умел с ними договориться жестами. Лоскутья ни на что не годились, но их так славно было перебирать и нюхать. Пахли они почему-то впрок сапожным кремом, который офицеры, не натянувшие сапоги, еще даже не купили в военторге. Мама говорила, что в военторге сказочное снабжение. Наверное, ей об этом сообщили военпреды. Пару раз эти военпреды заявлялись лично, потому что на лето под угрозой страшных кар задали множество задач и примеров. Особенно отчаялся бильярдно лысый, посидев с Гелей всего каких-нибудь часа полтора.

— Нет, не могу! — сказал он. — Лучше вагоны разгружать.

Однажды до репетиторства допустили отца. Он объяснял толково, так что в голове у Гели немного прояснилось, и она даже на что-то ответила правильно, только сразу же забыла.

— Реши хотя бы вот это и это, — сказал отец. — Я тебя на лодке покатаю. Если позволят, — добавил он.

Геля пошла к горбуну, сдавшему последний экзамен, а до этого запретившему его беспокоить, льстиво похвалила рыб, и Костя за пять минут красивым почерком написал в тетради решение.

— Ты только перепиши, — сказал он.

— Я сама должна, — надутно сказала Геля.

— Не надо тебе, — отмахнулся Костя. — Ты не по этой части. Зачем мучиться напрасно? Приходи, когда понадобится.

Переписывая задачки и дважды перепутав цифры, Геля думала, по какой же она части, но разумного ответа не нашла.

Отец дал ей ключи от своей квартиры, однокомнатной и в каком-то кургузеньком, словно тоже однокомнатном доме на северной окраине города. Геля приходила туда, прогуливая школу, перечитала множество книг, которые ей со спросом никто бы не разрешил, и подшивки старых газет из стенного шкафа с больнично окрашенной дверцей. Отец купил полированный гарнитур, и комната напоминала бы королевство кривых зеркал, если бы на мебели и на полу не лежали слои пыли.

Геля нашла тряпку, разорвала ее пополам, протерла гарнитур одной частью и вымыла полы другой, что дома делала под сильнейшим нажимом Бабуль, иной раз и со слезами. С тех пор, приходя в гости к отцу, на что мало-помалу мама перестала обращать внимание, Геля всякий раз прибиралась, потом лежала в ванне, подливая погорячее, и ощущала себя взрослой женщиной.

Поделиться секретом красоты и самостоятельности она решила с Лелем, наиболее безвредным из дворовых товарищей. Никому из одноклассников Геля ни секрета, ни красоты никогда бы не открыла. Они, естественно, не пошли в школу, но все-то думали, что пошли, и это спасало от присутствия Люля. Замки в отцовской миниатюрной квартирке были замысловатые, так что Геля долго тренировалась их открывать. Бесшумно поднялись на третий этаж, чтобы не привлекать соседей, ключ удалось с первого раза вставить нужной стороной бородки, и дверь открылась на удивление податливо.

Пока Лель млеял от полированного великолепия, Геля успела испытать неясное смущение и пожалеть о своей затее. Потом это прошло. Они смотрели по телевизору «Ленинский университет миллионов», листали журналы «Вокруг света», жарили хлеб на подсолнечном масле, потому что другой еды не нашлось. После уговоров Лель даже помылся в ванне, невзыскательно вытерся собственной рубашкой и ею же подтер нахлюстанное. Белые золотушные потеки на его лице посветлели. Рубашка высохла на нем быстро, потому что батареи уже были горячие, и Лель сел к ним сначала спиной, а потом пузом. Остаться голым он наотрез отказался.

Когда их накрыла вторая волна неловкости, граничащей с малопонятной неприязнью друг к другу, они засобирались домой. Замки были без «собачек», и дверь запиралась изнутри. Геля непринужденно взялась за ключ верхнего, самого хитрого и бородчатого, замка — ключ не поворачивался, мертво встав поперек. Она приналегла — и ключ оказался у нее в руке голым, как Лель в ванне, и таким же обескураженным. Зазубренная бородка осталась в сердечке, или личинке, как говорил отец, и Геля вдруг поняла, что все ее предыдущие беды были сущими пустяками, не стоящими внимания. Чувство неверия в происходящее — уже произошедшее — заполнило ее. Она снова и снова прикладывала обломанный ключ к скважине, как будто он мог срастись с утерянной частицей.

— Дверь перекосило, — сказал обезголосевший Лель.

— Откуда ты знаешь? — зачем-то спросила Геля, понимая, что ни причина, ни ее толкование не помогут. В голове у нее пронеслось нечто похожее на стихи: «какая сила дверь перекосила», но она не стала произносить этого вслух.

Они вразнобой ходили из комнаты в кухню, неизбежно возвращаясь в прихожую, к месту преступления. Каждый твердо осознал, что присутствие постороннего есть обременение ситуации и вызовет оно гораздо больше вопросов, чем сама поломка. Время возвращения отца с работы приближалось с мультипликационной скоростью. Геля залезла в полированный комод и достала простыни. Их отыскалось всего две, но, по ее расчету, на задуманное должно было хватить.

— Ты чего? — холодно спросил Лель.

— Я в форточку не пролезу, — сказала Геля преувеличенно торопливо. — Буду ждать отца.

Лель понял, что его призывают к подвигу, и замотал головой.

— Разобьюсь, — как о неизбежном сказал он.

— Нет, — сказала Геля.

— Боюсь, — признался Лель, и это было с его стороны не меньшим подвигом, чем спуск по простыне с третьего этажа.

— Глаза закроешь, — скоростным методом обучила Геля. — И вниз не смотри, — добавила где-то слышанное про скалолазов. — Нас убьют, если застанут.

Собственно, почему и за что их убьют, она сформулировать бы не смогла, но готова была подвергнуть товарища смертельному риску, лишь бы не предьявлять посторонним. Угроза убийства Леля несколько утешила. Геля связала простыни двойным морским, который они с отцом не так давно репетировали по журналу «Техника — молодежи», один конец таким же образом прикрепила к трубе отопления, другой бросила в форточку. Лель привычно облизал ладони и полез на подоконник. Он проклюнулся в отверстие головой вперед и долго дергал простынное полотно. Узел от рывков не развязывался, а только затягивался. По мере его вылезания и цепляния внизу собирался народ. До второй смены еще оставалось время.

— Милицию, на фиг, вызовут, — отчаянно крикнул Лель, и новый страх придал ему скорости.

Он слетел по простыне, как по школьному канату, который по-прежнему не давался Геле в руки. Она успела шпионски подумать, что телефонов в доме нет, а автомат наверняка не работает, да и бежать до него надо за угол. Юркий Лель, не отвечая на расспросы, сыпанул вдоль дома и, надо полагать, успел скрыться, прыгнув в троллейбус. В дверь ломались, но Геля, прижавшись спиной к вешалке, героически немотствовала. Отец пришел довольно скоро, но толпе наскучило глазеть на окно. Геля втащила простыни, зубами помогла себе распутать узел и прогладила бельевые принадлежности утюгом. Страх то нарастал, то отступал, и она даже включила телевизор, но зрение так и не сфокусировалось. Странности этого дня продолжились тем, что соседи отцу не попались, под его ключом дверь открылась как ни в чем не бывало, и Геле не пришлось нудно сознаваться и выслушивать нотации. Она заметила, что отец выпил больше обычного.

История с дверью и альпинизмом Леля замялась: отец с мамой не разговаривали, их связным была Бабуль, а от нее Геля происшествие скрыла. Геля перестала к нему ездить, когда очередным летом застала его в закатанных трусах, из-под которых... Нет, ничего особенного видно не было, но шарики заметно перекачивались. Отец был пьяней вина. Он взял Гелю за лицо обеими руками, долго вертел ее голову в разные стороны и пристально рассматривал.

— Ничего от меня! Ни-че-го! — повторял он слезливым голосом, то отталкивая Гелю, то приближая.

С Лелем отношения похолодели, и он все лето пропадал в Сто Пятом. Через год на экраны вышел фильм «Вертикаль», напомнивший о героическом спуске, и песни Высоцкого вышли на маленькой пластинке, когда мама купила радиолу «Серенада».

На самом деле настало уже другое лето. И тополя — эти гигантские городские одуванчики — мели другой снег, хотя он так же скапливался в углах и легко воспламенялся от поднесенной спички, если не было дождя. Дождь превращал нежнейшие, от малейшего ветра вздымавшиеся волны, похожие на кружевной Бабулин платок, в грязную пену. И сады наливались не так скоро. И бадминтон уже не занимал все пространство. И Люль научился говорить по-человечески и превратился в обыкновенного скучного дошколенка. Бустрофедон позволял выбивать письма жизни в обе стороны, чтобы не бегать попусту от края к краю. И если на правом краю убили президента Кеннеди, то следующая налево зеркальная строка отражала очередной смертный приговор греку Манолису Глезосу, возвращаясь вправо запуском первого многоместного «Восхода». И разговоры по вечерам на чердаке у Жирного пошли другие. А в какое лето был облюбван сам чердак, значения не имело.

Разговоры того, другого, лета крутились возле физиологии, преимущественно женской. Геле никогда не взбрело спросить у мальчишек, что происходит с их телом. Она замечала, что они растут, только по укорачиванию штанов. Мальчишки тоже прямо не спрашивали ее о том, что жгуче их беспокоило. Инстинкт подсказывал им, что любое несходство разрушит дружбу. Для собственного успокоения Геля, вопреки приобретенным познаниям о деторождении, решила, что все это выдумки, и на самом деле никто ничем подобным просто так не занимается, а болтают из чистого любопытства и праздности.

Саму Гелю в то лето (или другое?) куда больше мучила тайна образования мысли в голове. Она представляла огненные вспышки в мозгу, а иногда — возникающие, как на табло, буквы с текстом, который человек часто не успевал прочесть. Геля недоумевала, как происходит процесс мыслеобразования в безумной голове Аркаши. Или, например, у Гуни. И куда деваются погасшие письма, она тоже не понимала. А о царе Валтасаре еще не прочитала.

Жирного дразнил и мучил Михан. Он был старше остальной компании и в общении позволял себе значительно больше унижительного и обидного.

— Ты че такой жирный? — назойливо-однообразно допытывался Михан.

— У меня расширение кости, — оправдывался Жирный.

— А я думаю, у тебя расширение жопы, — самодовольно и безнаказанно изрекал Михан, ожидая подобострастного смеха.

Когда над его предположениями не смеялись, Михан презрительно удалялся по своим великовозрастным делам. Он уже выпивал с Водищевыми и на этом основании считал себя важной птицей. Наверное, Жирный хотел спрятаться на чердаке от подобных вопросов и намеков, но не выдержал одиночества. В самом скором времени на чердак переселилась вся компания.

— Я Светкины трусы нашел, — начинал Жирный. — В кровиче.

— И что? — уточнял доверчивый Лель.

— А то, что ей кто-то вдул, — без тени сомнения резюмировал Жирный.

— Это совсем не то, что ты думаешь, — пыталась вступить Геля за сестру Жирного, довольно-таки противную, кривоногую и редкозубую.

— Это совсем то, — парировал Жирный. — У баб первый раз всегда кровь. Мне Михан говорил.

Он и в бадминтон так играл: метаться из стороны в сторону было с его весом тяжело, и в каждом уроненном волане он винил противника. Геля подумала, как похожи бустрофедон и бадминтон: отбивание есть зеркало подачи. Разговор о Светкиных регулах, которые подозрительный Жирный принял за дефлорацию, могущую произойти с кем угодно, кроме его сестры, был Геле скучен. Она сама уже ежемесячно страдала по несколько дней от общей маеты и диких конвульсивных болей в низу живота. Это доставляло кучу неприятностей, особенно в школе, когда однажды протекло на платье. И у физкультурника отпрашиваться было стыдно.

— Ты почему опять не на занятиях?

— Мне нельзя.

— Что нельзя? Вечно придумываешь!

К тому же по всем признакам близилось надевание лифчика, а об этом думать было уже совсем невыносимо. Наташку Булычеву Туренко уже ощупал на этот предмет со спины и во всеуслышание так и объявил:

— Лифчик! У нее сиськи отросли!

Они с Наташкой дежурили по классу, и Геля принялась отгонять Туренко шваброй, которой протирали шершавые полы. Туренко отпихивался, обратным движением Геля заехала Наташке в лоб и осталась виновной. Почти все одноклассники

нарисовали ручкой предмет грудного туалета на фотографии Венеры Милосской в учебнике. Геле, росшей среди женщин, изменения не казались противоестественными. Но признаться во Дворе в своем созревании означало остановить непрерывно струящуюся и перетекающую из строки в строку летнюю летопись. Тревожные чердачные разговоры не проходили бесследно, и Геля теперь даже про Муслима Магомаева иногда допускала мысль, что под концертным костюмом он голый. Муслим! Магомаев! Голый! От такого кощунства ее передергивало сверху донизу, но мысль продолжала преследование вплоть до совершенно непотребных подробностей.

Зато Геля теперь знала, кто живет за стеной, куда выходит окно и кто бродит по тени. Зимой сад был пугающе пуст, а стена покрыта изморозью. Брожения с хрустом и другими неопределимыми на слух тоже были летней приметой.

— Кто это там? — спросила чуткая Геля в одну из ночей.

— Не бойся, — сказала под боком Бабуль. — Это Эмилия Кондратьевна шубы проветривает.

Кондратьевна? Значит, отцом ночной невидимки был тот самый Кондратий, который периодически так же беззвучно навещал Бабуль и повышал ей давление? Будь ее отцом хоть декабрист Рылеев, не говоря о том, от кого зависело здоровье Бабуль, имя Эмилия уже носило готически пугающий оттенок, а проветривание по ночам шуб во множественном числе усиливало тревожность. К сожалению, Геля уснула тогда на полуслове. Расспросы начались, когда она, забежав поглотить пару котлет между партиями в бадминтон, застала Бабуль чинно беседующей через окно со старичком в соломенной шляпе с черной лентой и белом парусиновом костюме, похожем на дедов, только много меньшего размера. Он стоял среди затеняющих самих себя зарослей чубушника, периодически приподнимая шляпу и раскланиваясь, хотя Бабуль, кажется, не собиралась ему аплодировать.

— А Соня что? — спрашивала Бабуль.

— Сонечка в Америке, — охотно сообщал старичок.

— А Настя? — допытывалась Бабуль.

— Настя активно сотрудничала с эсерами, — пояснял старичок. — Поэтому когда пришли эти, — старичок снял шляпу, но не чтобы раскланяться, а чтобы отмахнуться от неизвестных «этих», — ей пришлось эмигрировать. Дальнейшая, как говорится, судьба неизвестна.

— Геля, поздоровайся с нашим соседом, — назидательно сказала Бабуль. — Такая встреча, ты подумай!

— Здравссьте, — послушно сказала Геля с набитым ртом.

— Похожа на вас, — стандартно отреагировал старичок. — Но дети теперь такие... как бы сказать... моветонные. А вы были прелестны! Просто прелестны!

— Если бы молодость знала, — сказала Бабуль.

— Если бы старость могла, — радостно подхватил старичок. Они, будто шпионы, обменялись паролем и отзывом. — Ну, кланяюсь. Рад встрече.

На этих словах за спиной у старичка возник кто-то, очевидно, Эмилия Кондратьевна, однако без шуб, зато с двумя котами в руках.

— Подумай, Евгений, — сказала кошководержательница в нос. — Эти сволочи разодрали москитную сетку. Здравствуйте, милочка! — снисходительно приветствовала она Бабуль, не обратив на Гелю никакого внимания.

Москиты в их местности не водились, и в реплике различался колониальный привкус, а предложение подумать перед каждой фразой до сих пор считалось исключительно Бабулиной привилегией.

— Здравствуйте, Милечка, — поприветствовала ее Бабуль как старую знакомую.

Подробности Геля выпытала только вечером — день был перегружен.

— Кто это? — кивнула она на окно в сад.

— С Милей мы вместе учились, — сказала Бабуль с долей мечтательности. — А Евгений Митрофанович за ней ухаживал. Когда-то весь квартал, и наш дом в том числе, принадлежали его отцу.

— И Сто Пятый? — недоверчиво спросила Геля.

— И Сто Пятый. Там, кстати, живет сын комиссара, который их выселял.

Геля кое-что знала о революционной практике не только из школьных учебников. Морковка еще в Туторовском рассказала, как выселяли из дома на какой-то пряжке ее свекровь, мать трех морских офицеров, двое из которых погибли на Первой мировой войне, а третьего, мужа Морковки, расстреляли в Новороссийске, хотя он к тому времени и офицером-то быть перестал. А дворник, который занял их квартиру с пряжкой, вывалился пьяный из окна, но, не в пример Феде Водищеву, расшибся насмерть. Вероятно, недостаточно выпил. Другой вопрос, как Евгений ухаживал за Милей, когда, по словам Бабули, их никуда из Института не выпускали. Должно быть, они как-то все же ухитрялись.

— Но у Евгения кое-что осталось — его отец коллекционировал живопись и открыл в городе картинную галерею.

— А почему не отобрали?

— Он всю жизнь работал бухгалтером. С этой профессией при любом режиме не пропадешь. Но ты подумай! — воскликнула Бабуль. — Я до сегодняшнего дня понятия не имела, что они здесь живут.

— И шубы она проветривает с тех времен? — иронически спросила Геля.

— Не смейся, деточка, — печально сказала Бабуль. — Кто много потерял, тот умеет хранить оставшееся.

В один из дней регулярного нездоровья, наглотавшись обезболивающего, Геля сидела у окна, ведущего в сад, и приходила в себя. Перед окном зацвел жасмин, который во Дворе прозаически звали чубушником, хотя Бабуль уверяла, что это не одно и то же. Но Геля смотрела поверх пока еще зелененьких, но уже пахнущих, как земляничное варенье, шишечек на стену, увитую каприфолью, — козьей жимолостью, которая зимой вымерзала и, что ни год, начинала новый рост от корня, цветя и благоухая до поздней осени и превращаясь в плотный ком зелени, перемешанной с несъедобными плодами. Обрезать кустарник хозяевам было уже не под силу. Или просто надоело.

Евгения Митрофановича Геля про себя звала Митрофанычем не из-за неуважения, а для краткости и потому, что ей пушкинское имя казалось не соответствующим фонвизинскому отчеству. У его жены, впрочем, с этим тоже был беспорядок. Митрофаныч вырос из чубушника, будто сидел там в засаде. Он вообще был странный.

— Бабушка дома? — спросил он почти тем же тоном, каким Колян спрашивал: «Геля выйдет?»

— Она варенье варит, — сказала Геля.

— Священнодействие нарушать нельзя, — протянул Митрофаныч. — А что ты читаешь?

Вопросы такого рода раздражали Гелю до крайности, потому что задавались не из любознательности, а в качестве, как выражался дед, проверки на вшивость.

— Вазари, — солгала зачем-то Геля небрежно, хотя читала совершенно другую книгу, написанную в текущем столетии и бойко изображающую его нравы.

— Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих? — неожиданно поймал пас Митрофаныч. — Откуда у тебя? Это достаточно редкая книга.

— От деда, — сказала Геля угрюмо. Номер явно не прошел.

— Ах, да, — сказал Митрофаныч. — Жаль его. Самородок. Истинный русский самородок. Рано ушел.

Геля сделала приличное теме выражение лица, надеясь, что разговор на том и завершится. Но Митрофаныч не отставал.

— А не хочешь зайти ко мне посмотреть тех самых живописцев, ваятелей и зодчих?

— Прямо сейчас? — глупо спросила Геля.

— Прямо сейчас, раз уж ты такая начитанная. Я начитанных ценю.

Геля не помнила, как покидала дом, огибала его и входила в соседние ворота, чугунные, с резьбой поверху, всегда закрытые, которые давно привлекали ее, главным образом, недоступностью. Во владения Митрофаныча и Эмилии она, кажется, перелетела поверх чубушника и обочь обвитой жимолостью стены и очутилась сразу в длинном коридоре, обвешанном по обе стороны картинами, как музей, и подсвеченном вделанными в потолок многочисленными лампочками, напоминающими новогодние гирлянды.

— Смотри, здесь есть настоящие фламандцы, — сказал Митрофаныч, откуда-то оказавшийся рядом.

Поскольку Геля Вазари в глаза не видела, ей пришлось вспомнить, что Бабуль так называла деда, любящего делать запасы. Картины фламандцев были непроглядно темны, и Геля почти ничего не разглядела, кроме какой-то селедки. А Митрофаныч уже бежал дальше, в недра, откуда брезжил дневной свет. Геля, боясь заблудиться и остаться наедине с прожорливыми фламандцами, припустила следом и оказалась в самой натуральной библиотеке со стеллажами до потолка и развернутой многоступенчатой стремянкой. Стол у окна был тоже музейный, крытый зеленой материей, на взгляд мягкой и ветхой. Для имитации кабинета какого-нибудь классика не хватало гусиного пера, зато присутствовал чернильный прибор в виде башенок разной величины.

Митрофаныч забрался на стремянку и достал в полки невиданную папку, обшитую сафьяном, — так Геля, ничего краше не придумав, определила ткань, которой папка была покрыта. Присев на стремянку, Митрофаныч подозвал ее головой, так как руки были заняты.

— Смотри, — сказал он тревожно. — Это рисунок Леонардо. Подлинник.

Не читавшая жизнеописаний Геля, слава богу, знала, кто такой Леонардо, и снизу, из-под стремянки, смутно разглядела переложенный пергаментом листок. Что на нем было изображено, она при всем желании различить не могла.

Митрофаныч поставил папку на причитающееся ей место, спустился и взял со стола книгу — разумеется, старинную, с красивой шелковой закладкой, раскрыл ее, провел ребром ладони по сгибу:

— Сейчас я тебя немного проверю, — сказал он учительским голосом.

«Начинается», — брюзгливо подумала Геля, незаметно нашаривая глазами выход. Перемещения по музейному дому оставались волшебными, и дверь, в которую она вошла, бесследно сомкнулась.

— Восемь лет эту местность я знаю. Уходил, приходил, — но всегда в этой местности бьет ледяная неисчерпываемая вода, — без выражения, как прозу, и не глядя в книгу, прочел Митрофаныч. — Можешь сказать, чьи это стихи? Хотя бы какого времени?

Повезло Геле непередаваемо. В этот самый момент в безвидную дверь, а может, и сквозь стену просочилась Эмилия. Она смотрела на обитателей библиотеки, как смотрят спросонья на грабителей, упаковывающих в скатерть столовое серебро.

— Евгений, — сказала она сдавленно. — Не молода ли для тебя эта особа?

— Милечка, что ты говоришь! — пришел в деланный ужас Митрофаныч. — Это же наша соседка, внучка твоей однокашницы.

— За однокашницей ты, помнится, тоже ухлестывал, — вздымала звук Эмилия.

В этот ничтожный промежуток Геля успела скоситься на обрез книги. Та лежала по отношению к Геле вверх ногами, то есть буквами, но выручила привычка к шпаргалкам, которые приходилось считать и не из таких положений.

— Северянин, — сказала она торжествующе. — Игорь Северянин.

— Молодец девочка, — без всякого восторга, но с нетерпением отозвался Митрофаныч. — Иди домой.

Этого Геля желала и без его советов. Она очнулась на том же месте, где застал ее завязавшийся в чубушнике сосед, словно и не покидала своей жалкой комнаты с печкой и красной тахтой. Из кухни возникла Бабуль в переднике.

— Пора пробу снимать, — сказала она. — Это твоя обязанность.

Геля покорно подошла к коптящей «на коридоре» керосинке, на которой варилось малиновое желе, деревянной ложкой зачерпнула немного сиропа, крепко на него подула и наклонила ложку над тазиком. Сироп с зеркальным отливом стек обратно широкой полосой. Это означало, что варенье близко к готовности. Но Бабуль никогда не ограничивалась одним способом. По ее утверждению, проб было двенадцать, правда, применялись они избирательно.

Геля предпочитала пробу «толстая нитка», когда между пальцев образовывалась серебристая неразъединимая сопелька, но она годилась для клубники и в крайнем случае земляники. Поэтому Геля без лишних слов взяла с кухни блюдце с золотым ободом и осторожно капнула варенья. Через несколько мгновений капнутая лава потускнела, и ее поверхность затянута пленкой, как глаз спящей птицы. Геля тронула пленку, и она сморщилась, точно распаренная подушечка пальца. Третий способ был самый верный. Геля налила в то же блюдце сиропную лужицу, ложкой осторожно провела бороздку, и они с Бабуль вперились в образовавшийся раздел, будто гадалки в кофейную гущу. Бороздка сглаживалась достаточно медленно, чтобы вынести варенье вердикт готовности.

Когда очередь доходила до яблок и айвы, для которых сироп упаривался отдельно, проба носила смешное имя: слабый шарик. Эту ювелирную процедуру Геле долго не доверяли. Много лет подряд она наблюдала, как Бабуль смоченными пальцами виртуозно ловила порцию сиропа, словно бабочку за сложенные крылья, и опускала пальцы в чашку с холодной водой, где сироп свертывался в чуть пенящийся сгусток, из которого после остывания можно было действительно слепить липкий катышек. С прошлого лета Геля научилась проделывать и этот фокус. Но до яблок было еще далеко, и, возможно, все происходило вообще в совсем другое лето.

Посещение музейного дома оставило неприятный осадок, хотя трюк с Северяниным Геле понравился и стихи запомнились. В заветном тугорковском ящике обнаружилась старая хрестоматия с несколькими образцами этого поэта, но все они показались Геле приторно-сгущенными, как слабый шарик.

Тем или другим, но Володя откинулся летом. Легкий, основательно подсушенный тюрьмой, он появился во Дворе в черном рабочем х/б, начищенных справных сапогах и кепке, надетой на особый вызывающий фасон. Металлическая улыбка выдавливала на щеках ямочки, как у актера Ивашова, витая на его продубленном северными ветрами лице, но не меняя волчьего серо-голубого взгляда. Всем мужчинам Двора стало ясно без слов, что их позиции безвозвратно пошатнулись. Даже Леня Водищев сбавил обороты и никого не задира.

— Тюремщик пришел, — пронеслось среди старух, обсевших Гунины слепенькие окна. Они не подозревали, что своей неточной атрибуцией наносят новому жильцу самое страшное оскорбление, превращая его из жертвы в палача.

— Тварьфашист, — заклеимила Гуня, впрочем, шепотом и не отваживаясь на «гестаповца».

Сколько и за что Володя сидел и что у кого украл, точно не знал никто. Но принадлежность к касте воров удостоверялась его особостью и непохожестью на местных лояльных разгильдяев. К тому же, в отличие от них, Володя находился в напряженно трезвом состоянии, хотя всегда был взведен, как винтовочный курок, и опасен, как отомкнутый штык того же вида охранительного вооружения, судя по всему, неплохо Володе знакомого. Состоял ли он при этом, учитывая воровские законы, законным мужем цыганки Лидки или поселился у нее между ходками, неизвестно, но отцом взрослого, уже живущего своей темной семейной жизнью Пашки и малолетнего Геньки, унаследовавшего от предков по линии матери ключевые черты ее загадочного племени, похоже, являлся. Генька артистично выпрашивал каждый вынесенный во Двор кусок хлеба, покрытого мокрым сахаром, так, что ему никто не мог отказать, искусно и самоуправно плясал на коллективных празднествах и проныривал туда, куда не звали.

Говорили, что воры не могут иметь семью, потому что для этого надо ставить в загсе печать, а это им кем-то запрещено. С другой стороны, младший Володин отпрыск по срокам мог быть зачат на длительном свидании, куда допускают только близких родственников. Но все это носило характер не более чем произвольных догадок. Точной приметой принадлежности к воровской касте служило лишь то, что Володя нигде не работал и не собирался.

С виду он был открыт, улыбчив и безукоризненно учтив. Для установления теплых отношений играл с мужским населением в домино, так же звонко хлопая завершающей кон костью (прямоугольные плашки с белыми точками он называл «камями») и со сдерживаемым превосходством произносил: «Рыба!» Голос у него был с мужественной хрипотцой. Старухи поначалу беспокоились о своем бельишке, вечно пузыристо сушащемся на протянутых через центр Двора веревках и подпираемом шестью с выемкой сверху во избежание касания земли. От этого белья детвору гоняли как сидоровых коз, чтобы днями не мытые руки, не дай Бог, не запятнали жестко, до синевы, накрахмаленных пододеяльников. Но мужчины внушили неусыпным хранительницам постельных принадлежностей, что воры там, где живут, не тащат, и они мало-помалу успокоились.

К Володе уже начали привыкать и принимать его спокойный перевес. Но Муся Куряка имела обыкновение по ночам бодрствовать и из своего, соседнего с «тюремщиком», подвала усмотрела, что Володя со старшим Пашкой совершают таинственные рейды, возвращаясь с рассветом. Поползли слухи о гомерических ограблениях малочисленных действующих церквей и квартир «торгашей», ничем, впрочем, не подтвержденные. По другим источникам, Володя вел крупную карточную игру в легендарном притоне на Кронштадтской и выигрывал золотые горы. Однако ни его костюм, ни образ жизни его ближних нимало не менялся, на что во Дворе тоже имелись резоны: выигрыши Володя якобы отдавал в «общак», которому задолжал за время отсидки.

То утро долго не разгоралось, пасмурь висела на отцветшем чубушнике и запутанной каприфоли. Мама уже убежала в машину к дождавшемуся ее военпреду. Геля завтракала, глядя в окно, выводящее в королевство проветриваемых шуб, и не знала, как прожить день. Времяборчество со слонянием из угла в угол и праздным висением между тахтой и потолком иногда и летом занимало серьезные про-

межутки. Но острые приступы безраздельного счастья бытия компенсировали их с лихвой.

Она узрела Колобушкина, который шел вдоль жимолостной стены развалисто и длинно, как в кино. За ним семенил низкорослый, судя по шапочке, врач и величаво плыла спутница этого врача, потому что тоже в халате. Медицинские порядки Геля знала по болезни мамы. Не ей принадлежащая посторонняя сила внесла Бабуль. Видимо, это свойство принадлежало всему связанному с законным пространством.

— Ты подумай! Евгения Митрофановича ограбили! — выпалила она. — Мы должны их поддержать в такой момент. Пойдем!

Геля была не прочь поддержать Митрофаныча, но совсем не Эмилию. Волшебство, внесшее Бабуль, истратило силу, и магического перенесения в соседский сад не произошло. Весь полагающийся путь они проделали нормально, пошагово. Чугунные ворота скрипнули с тоской и болью. На крыльце стоял брюнет в костюме и курил.

— Вы куда? — спросил он.

— Видите ли, мы много лет знакомы, еще до революции, — зачем-то пустилась в детали Бабуль. — У меня умер муж, и мы с внучкой переехали к дочери. Случайно оказались соседями. Моя дочь получила здесь жилье после размена. Я просто хотела выразить сочувствие.

— Понятой будете, — мрачно сказал ничего не услышавший брюнет. — Там следственная группа работает. Эксперты. Только не наступайте никуда.

Они миновали коридор с фламандцами. Не наступать не получалось, потому что летать они не умели. Вошли в комнату, где Геля не бывала. На диване лежала Эмилия с одним вывернутым из глазницы, как лампочка, глазом и другим, плотно зашторенным зеницей. Дед еще давно перевел это слово как «веко». Врач измерял лезачей давление, но Геле показалось, что делать этого уже не надо. Эмилия, однако, открыла другой глаз и сказала на insultном эсперанто:

— Э́ни! Э́ни! Абадя́!

— Молчите, больная! — строго остановил ее врач.

Но она продолжала свою немую речь:

— Э́ни! Абадя́!

— Тебе сказали: молчи! — крикнула спутница-медсестра. — Доктору тонов не слышно.

Эмилия затихла, хотя точно не поняла смысла сказанного. В комнату вошел Митрофаныч в шляпе, как будто в ней спал. Он посмотрел на Бабуль и Гелю как на вечно присутствующих здесь.

— У Мили удар, — сказал он.

— Как это случилось? — задала Бабуль не самый важный вопрос.

— Влезли, скорее всего, через дымоход, — сказал Митрофаныч, хотя его спрашивали про удар. — Все перевернули. Я почувствовал чужих, закричал, спугнул их. Но и Милечку напугал до полусмерти... Или до смерти, — Митрофаныч сел на какой-то крохотный пуфик и заплакал.

— Женя, — сказала Бабуль. — Ты должен держаться.

— Зачем? Сколько можно держаться? — спросил он, оторвав от лица руки. — Всю жизнь только и делаю, что держусь непонятно за какие поручни. Я давно все ценное передал в галерею. Если и взяли, так ерунду, копии. Невезьды!

«А Леонардо?» — подумала Геля, но вслух не повторила.

Эмилия на диване выдавила протяжнее, чем раньше, неразгаданное: «Абадя-а-а!», задергалась. Вывернутый глаз внезапно встал на место, черты разгладились, и Геля подумала: «Это смерть?», но спросить не решилась. С крыльца вернулся накурившийся брюнет.

— Девочка, — обратился он к Геле. — Иди домой, нечего тебе тут.

Геля, сутулясь, пошла вон и снова не помнила, как попала во Двор. Колобушкин уже был там и сомнамбулически двигался за сараи, подтверждая, что телепортации возле Митрофанюча подвержены и органы правопорядка. Двор был жутко пуст, и Геля слепо следовала за участковым, чтобы не оставаться в этой пустоте. За сараями, кольцом обвив помойку и сортир, сплотились почти все взрослые, а также Жирный, и Светка, и Лель с Люлем, и Колян. Генька увидел Гелю и приоритетно сообщил:

— Папка удушился!

Из средней двери сортира два младших милиционера вынимали негибкое тело. Один из них держал под мышкой кепку. Володину кепку. «Смерть ходить каждый день», — вспомнилось Геле Данилино. «И не по одному разу», — добавил в ней кто-то незнакомый.

— Он, вишь, подумал, что на него подумают, — умозаключал печник Новиков.

— А на кого ж еще? На тебя, что ль? — злорадствовала жена Новикова.

— Тюрьма — не мать родна, — сипло философствовал Усач. — Кому ж туда охота?

— Да что мы знаем! — сомневалась Кривая, знающая всегда все про всех.

Володю за ноги и под мышки отнесли в сторону и сложили на чахлую траву. Подошел давешний брюнет, наклонился над телом.

— Жаль, — вырвалось у него. — Теперь точно глухарь.

«При чем тут глухарь?» — подумала Геля, как всегда, откликаясь на слово независимо от обстоятельств его произнесения.

— Ага! — торжествуя сказал Новиков. — Не стал ждать, когда на него повесят, — вперед вас повесился.

— Ты помолчал бы! — твердо и задумчиво сказал Колобушкин. — Разошлись все живо!

Никто не расходился. Пришел врач, меривший давление умирающей Эмили. Встал перед Володей на колени, поколдовал.

— Готов, — кивнул Колобушкину. — Густо сегодня как-то.

Дождаться труповозку Геля не стала. Вернулась домой и до прихода Бабуль сидела у Кости, смотрела на рыб, в спокойном состоянии висящих среди водорослей, как елочные игрушки, и слушала гудение компрессора, превращавшего воду из стоячей в проточную. Костя говорил: «аэрация». Он кормил Гелю бутербродами и умело, незаметно молчал. Так повелось с тех пор, как Геля повадилась наблюдать за обработкой Костиных фотографий.

Она полюбила этот таинственный трудоемкий процесс с участием многих предметов: односпирального бачка, удивившего ее при знакомстве, термометра, литровых банок для промывки пленки, которые Костя одалживал у Бабуль и наклеивал на них бумажки с химическими надписями, мензурки, аптекарских весов для правильного отмеривания химикатов, щипцов для отжима пленки. Слова «проявитель», «закрепитель», «стоп-раствор», «фиксаж» и назначение носителей этих слов успели усвоиться. Костя постоянно сетовал на отсутствие светонепроницаемого рукава. Но Геля привыкла к приспособленной для наматывания пленки старой куртке с подвернутым низом и воротом, куда Костя запускал по плечу свои длинные руки.

Он никогда не был доволен снимками и всегда находил причину неудачи.

— Экспозиция неверная, — морщил Костя свой тонкий нос.

Или:

— Недопроявка налицо.

Или наоборот:

— Перепроявил, идиот!

Он не жалел для себя обличений. А для Гели качество фотографий значило мало — лишь бы можно было догадаться, дерево или человек, как в том первом телевизоре. Но Костя показывал ей альбомы знаменитых фотографов и некоторыми снимками восхищался до стонов и заламывания рук.

— Что делаешь, делай хорошо, — его любимая поговорка к искусству фотографии пока не относилась, но Костя, в отличие от Гели, любил учиться. А Геля любила знать заранее и потом только проверять.

Бабуль пришла уже затемно.

— Опись имущества делали, — устало сказала она. — Бедная Милечка! Революцию пережить легче. Там все в той или иной степени заражены варварством, и опасность повсюду, она непрерывна. А здесь не знаешь, с какой стороны и когда ждать...

На следующее утро подвал был пуст. Лидка с Пашкой и Генькой исчезли бесследно. Больше там не поселялся никто, и никто суеверно не входил внутрь. Митрофанч на фоне стены после похорон Эмилии не возникал. Бабуль иногда носила ему суп в бидончике и по возвращении качала головой и шептывала. Образки Спасителя, Матери Божией и Николая-угодника она развесила открыто. То ли устала бояться, то ли что-то изменилось в атмосфере, Геля не знала.

IV

Тем летом (или другим?) Геля отошла от роевой жизни. Она бродила по городу и познавала ногами не только дорогу до школы или измеренные велосипедом маршруты. Город открывался неохотно, утаиваясь в плотной завеси листвы, тяготеющей по мере протекания летнего времени к зелено-морской насыщенно-плотной окраске, потом покрывающейся пылью, как айва волосками. Моря Геля не видела, но часто представляла. Или вспоминала. Или оно ей снилось. И города она словно тоже не видела раньше, хотя отдельные фрагменты знала со слов Бабуль по ее бесконечным «бывший», «бывшая», «бывшее». Теперь все связалось, и из-под привычных контуров проступали совсем иные черты иного города. Геля без труда разыскала домик на бывшей Дубовой, где проживала юная Бабуль, где играли тихую свадьбу и где умирала от тифа тетка. После Маши, Эмилии и Володи Геля относилась к смерти с новым томительным и почти нежным чувством, но видеть ее вблизи желания по-прежнему не зарождалось. И осени она теперь не боялась в связи со школой и понимала, что лиственная желтизна — это седина стареющих и умирающих к зиме деревьев. Только деревьям дано воскресать, а людям это свойство так и не привилось, зато сохранена надежда.

Домик был как домик, ничуть не изменившийся. Но влекло Гелю почему-то соседнее строение, весьма немного отличное от свадебного — такое же приземистое и остойчивое. Геля часами сидела перед фасадными окнами на скамье с удобной спинкой, ограждаемой двумя липами, смотрела вверх сливающегося с древесной зеленью дома и забора на жестяную крышу и проникалась ожиданием незнамо чего. Так продолжалось день за днем. Город погружался в жару, изредка разряжаемую коротким ливнем, когда ожидательная скамья покрывалась крупными нерасходящимися каплями, и приходилось усаживаться на спинку, затем вытирая за собой следы сандалий, а крыша и водосточная труба с раструбом гремели срочной, быстро иссякающей музыкой. Бабуль рассказывала о духовых оркестрах, которыми город был славен когда-то, и до Гели через дождь будто долетали дыхательные звуки той, другой музыки. Зелень лип делалась постепенно малахитовой, с желтоватыми прожилками, преодолевшее толщу туч солнце охотилось за каждой каплей, и скамейка просыхала неровно, пятнами.

Электромеханик Зайцев очутился рядом с ней, словно никуда не уходил отсюда все минувшие годы. И разговор между ними не завязывался со сбивами, а продолжался с бережно сохраненной точки. Откуда пришло знание, что он именно электромеханик и как его фамилия, Геля не знала и не хотела знать, но профессия старика с преувеличенными лысиной ушами отчего-то была важна и значима, а мизерабельная фамилия будто написалась готовой в ее голове.

— Эх, не поспел я на похороны, — говорил Зайцев с досадой. — Тут ведь откуда узнаешь-то? В газетах не пишут, по радио не объявляют. Потом уж наш прихожанин сказал, когда из Симферополя вернулся.

Кого хоронили в Симферополе, Геля тоже понятия не имела, но твердо знала, что это вскоре выяснится.

— Говорил, там что творилось! — продолжал Зайцев. — Хотели его окраиной провезть, так женщины на дорогу легли, и все равно вышло через центр.

— А вы его откуда знали? — осторожно, с подвохом спросила Геля.

— Владыку-то? — Зайцев посмотрел на такого несведущего человека с жалостью. — Так он жил у меня. До самого отъезда в Крым и жил. В архиерейские покои не въехал. А что? Комната сухая, теплая. Тихо, мирно. Я всегда на подхвате. И храм близко. Тебя ведь тут крестили? В Покровском? — спросил осведомленный Зайцев.

— Тут, — ответила она, вдруг вспомнив то, чего помнить никак не могла, — потертые поручи на державших ее крупных свежих руках.

— Ну и вот, — продолжал Зайцев. — И с Фоминым вся история на моих глазах разворачивалась.

Фомина Геля, как ни силилась, восстановить не могла и решила на новый вопрос:

— А Фомин этот — кто?

— Ну, как кто? — удивился Зайцев. — Кассир. Часы у нас на клиросе читал.

Геля окончательно смешалась и подумала, что если слушать внимательно, то, может, прояснится и с Фоминым.

— Чтец из него был как из кран-балки лебедка. Бывало, половину слов перепутает, а другую перевернет. И вот владыка ему одно замечание, другое. Да Часословом махнул и задел того Фомина по уху. Фомин в истерику, да вон из храма. И перестал ходить совсем. А жил на Полынках. На самой крайней окраине. Владыка крест и панагию надел — да к нему через весь город потопал. Прощения, стало быть, просить. А тот ни в какую, до того обиделся. Дверь не открыл — это архипастырю-то!

— Ну и дурак! — сказала Геля.

— Вот ты старого человека дураком честишь, а владыка не погордился, еще раз пошел. И еще. Так Фомин и корячился вплоть до отъезда владыкиного. Под конец уж только простил. Во как!

— А куда он отъехал? — Геле неловко было спрашивать глупости, но иначе становилось уж совсем безумно.

— Так в Симферополь же! — удивился Зайцев. — Перед отъездом уполномоченный сюда приходил, Медведев по фамилии. Говорит: «Вы уж, гражданин Войно-Ясенецкий, не поминайте нас лихом...» А владыка: «А вот уж нет: не забудем ни-ко-гда». Раздельно так сказал, отчетисто. Никого не боялся, кроме Бога. А уж как мытарили-то!.. Еще прославят его, помяни мое слово.

Зайцев ушел незаметно. То ли Геля задумалась так крепко, то ли привиделась ей вообще эта беседа. Вспомнилась. Приснилась. Но она никогда не слыхивала чудную фамилию Войно-Ясенецкий. Чтобы выяснить у Бабуль, пришлось рассказать ей об электромеханике.

— Ты же там рядом жила, сама рассказывала.

— Я там жила задолго до этого. А во время войны мы с твоей мамой жили на другой улице — Гоголя. Но на архиерейской службе я присутствовала. О, как владыка был прекрасен, как величествен! — голос Бабуль словно надтреснул.

— Гоголя — бывшей какой? — привычно спросила Геля.

Бабуль усмехнулась.

— Представь себе, ее не переименовали, — сказала она с непередаваемой интонацией.

— А что было страшней — революция или война?

— Сама посуди. В войну все знали, кто враг. А в революцию — еще надо было разобратся и выбрать. А выбрав, одних оправдать, других возненавидеть... Давай-ка с тобой сходим к этому Зайцеву. Мне хочется с ним поговорить.

Дом стоял на месте. Но жильцы в изумлении от Зайцева отнекивались. Только одна тетка крепя сердце подтвердила:

— Да, жил тут такой, бывший владелец. В церковь все шастал. Помер он.

— Давно? — спросила Геля на всякий случай.

— Да лет десять тому, — неуверенно сказала тетка.

Они с Бабуль слитно молчали, шли по Комсомольской, бывшей Дубовой, к набережной.

— Ты не удивляешься, — констатировала Геля. — Думаешь, я сочинила все?

— Как ты могла такое сочинить? Давай-ка зайдем в храм, пока чудеса не кончились.

— Ты думаешь, это чудеса? — переспросила Геля.

— А что я, по-твоему, должна думать?

Геля не ответила. Они дошли до Покровской церкви, и Геля наотрез отказалась заходить внутрь, потому что у нее не было с собой платка на голову. Порядки здешние она от Бабуль знала.

— Ты иди, — сказала она. — Я здесь побуду.

Бабуль перекрестилась и вошла. Посреди двора стоял Аркаша в дедовом пиджаке.

— Мелифлютика все, — сказал Аркаша. — Там, — показал он вовне, за ограду.

— Я в курсе, — сказала Геля солидно.

Поискала, где присесть. В глубине церковного двора, под обширным дубом, стояли уютные лавочки. Геля поместилась рядом с бабушкой, держащей на коленях сумку.

— А как Его мытарили! — воскликнула бабушка, словно продолжая речь электро-механика Зайцева. — Как мытарили!

Геля постановила, что речь снова о владыке, дравшемся книгой, и прислушалась.

— У них в плетки кожаные были шарики свинцовые вшиты, — поведала бабушка. — Так они с каждого ребрышка Ему кожу сняли.

Нет, передумала Геля. Наверное, она о своем сыне рассказывает. Но кто же его так мучил? Фашисты?

— А Он, сердешный, застонет тихонечко и смотрит на них ласково. От Его взгляда они с ума потом рехнулись.

— Вы про кого? — наконец поинтересовалась Геля.

— Про Христа, Спасителя нашего, — громкозвучно объявил подошедший Аркаша. — Остальное — мелифлютика!

Старушка порылась в сумке и достала два заскорузлых пряника с облезшей глазурию. Протянула Аркаше и Геле, поклонилась и пошла. Через дыру в сумке закапали монеты — только не в снег, а на подметенную церковную дорожку. Гелю ударило в сердце прозрачным ножом. Она бросилась подбирать денежки, низко наклоняясь за каждой и выпрямляясь, чтобы не потерять старушку из виду. Самой страшной для нее была бы сейчас эта потеря. Старушка шла ровно и неспешно, но догнать ее почему-то стоило изрядных усилий.

— Возьмите, у вас упало, — сказала запыхавшаяся Геля.

— Спаси Христос, деточка, — пробормотала старушка. — Совсем сумка-то прохудилась. Спаси Христос!

Геля остолбенела и долго рассматривала свои руки, как будто к ним могли прилипнуть монетки. Из храма вышла Бабуль — юная, в форменном платье, белоснежном переднике, шляпке и пелеринке — вместе с похожей на нее, только более кудрявой и веселой барышней.

— Познакомься, это Геля, моя подруга, — как ни в чем не бывало сказала Бабуль. — Мы собираемся к Конраду поесть мороженого. А потом в летний сад слушать духовой оркестр. Хочешь с нами?

Геля замотала головой, то ли отказываясь посетить несуществующие кондитерскую и летний театр, то ли стряхивая дореволюционное наваждение. Прояснившись зрением она вдруг увидела, что Бабуль — настоящая — сильно постарела, погрузнела, припадает на ногу и носит очки в коричневой черепаховой оправе. И что волосы, выбившиеся из-под платка, у нее белые и легкие, как тополиный пух.

Геля вернулась во Двор — не на территорию, а к образу жизни, изредка навещающая дом на Комсомольской. Электромеханик Зайцев больше не воплощался. Про владыку Войно-Ясенецкого Бабуль рассказала ей все, что знала, и Геля обнаружила, что учится в здании, где он оперировал раненых и куда раньше приходил к другим раненым царь.

Пучеглазая, дочь Кривой, объявила, что расписывается. По общественному мнению, она засиделась в девках до неприличия. Но еще более неприличным показался ее избранник Олег. Он был моложе невесты лет хорошо на пять, высок и мосласт. Волосы у него росли ежом, что было неподменным признаком женолюбия. А с нареченной они, по выражению дворовых активисток, жили до свадьбы, поскольку Олег некоторое время назад переселился в подвал из общежития с чемоданом средних размеров.

То — или другое — лето и было озаглавлено радиолой «Серенада». Совместно с бадминтоном, сохраняющим выигрышные позиции, это приобретение вдвое повысило Гелины дворовые акции. Все карманные деньги теперь оставались в магазине «Мелодия». Пренебрегая загрязнением жилья, окна на Карлушку были запахнуты настезь, и когда из них доносилось душераздирающее: «Маруцелла, Маруце, тэ мисо динта льоч ё марэ» или паллиативный молдавский «Норок» заводил нетленное: «Де че плынг китареле, тиу дор фернареле», сам красавец и самец Агламазовский гвардейским шагом переходил улицу и благосклонно высился несколько минут, обратив голову датского дога или египетского бога навстречу сладостным звукам.

Вытаскивать радиолу во Двор категорически запрещалось, да и весила она тяжело. Но танго «Маленький цветок» и «Серебряная гитара» насмерть сразили жёниха Пучеглазой Олега. Он остановил Гелю в воротах и умоляюще попросил:

— Слышь, одолжи пласт на пару дней. Я маг у друга возьму, перепишу.

«Маг» и «пласт» были из нового лексикона, и Геля оценила это по достоинству. Мечтать о несбыточном магнитофоне «Яуза-10» она себе запрещала. Но не содействовать прогрессу, а тем более чужому счастью не могла. Пожертвовать Джордже Марьяновичем и Яношем Коошем еще куда ни шло. Но божественной красоты борца за мир Дина Рида отдать в чужие руки было равносильно сдаче Москвы Кутузовым, а лишиться на день Джанни Моранди с его «Джунга-джунга-джун» сопоставимо с потерей глаза, если не обоих. Дружеский магнитофон, видимо, оказался норови-

стым, и через пару дней Геля, превозмогая себя, словно Орфей во ад, сошла в подвал Махи Кривой. Олег как раз завершал процесс записи: пленка на язучной бобине подходила к своему беленькому кончику.

— Заходи! — радостно сказал Олег. — Финиширует.

Он занес руку над тумблером и ровно в нужный момент вырубил гудящий и пощелкивающий агрегат.

— Звук офигенный! Слуханем?

Отказаться Геля не смогла — такими соблазнами искушают не каждый день. Херувимские аккорды «Серебряной гитары» полились из пятнадцатикилограммового чрева при поддержке четырех с половиной кило выносных громкоговорителей. Джаз-секстет Томаша Балаша с умопомрачительными соло фортепьяно и сакса кружил голову и туманил взор.

— Потанцуем? — просто предложил Олег. — Че вхолостую такую роскошь гонять.

— Я танго не умею, — призналась Геля, опасаясь насмешки.

— Да ладно! — успокоил Олег. — Я тоже не из Аргентины. Школа горсада.

Он вытянул руку Гели на всю длину, обхватил талию другой рукой и резко пошел на раз-два-три. Геля интуитивно и послушно заперевирала ногами. Ее голова плыла отдельно на уровне подмышки партнера. Олег незаметно выдвинул их стихийный дуэт в сенцы, и в тот момент, когда он переломил Гелю в пояснице и откинул назад, как полагалось по ходу танца, в темноте мелькнуло и резко погасло пестрое платье Пучеглазой, как будто она обесточила внутреннюю проводку. Геля вынула себя из рискованной позы, но Олег не успел — или не захотел — отпустить или хотя бы опустить ее вытянутую руку.

— Это что? — спросила Пучеглазая, как будто негаданно ослепла.

— Это маленькая репетиция, — находчиво сказал Олег.

Геля уже успела вырваться и метнуться в комнату за пластинками, сложенными стопкой рядом с «Язучой». Пучеглазая ворвалась следом, но опередила Гелю за счет нервного подъема. Она подняла тяжеловесного первенца звукозаписывающей техники легко и празднично, словно торт «Сказка», и, для начала опустив его, как пресс, на пластинки и дождавшись взаимосвязанного хруста, вырывая вилку вместе с розеткой, шваркнула магнитофон об пол.

К вечеру Геля приняла решение утешиться прогулкой и в воротах увидела Олега с чемоданом средних размеров.

— Дура она, — сказал Олег, обернувшись, и пнул оконную раму бывшей невесты, находившуюся на уровне его голени, благоразумно не задевая стекла. — Старая притом. И погреб ее гребаный... — повернувшись к Геле, добавил: — А мы еще станцуем! Вот подрастешь чуток — и дадим джазу.

Геля кивнула, хотя танцами с Олегом была перенасыщена и предвкушала предстоящую гомерическую оценку события Двором, почему хотела выскользнуть на улицу незаметно. Идти вслед за Олегом было глупее некуда, и она вернулась домой. Но сидеть и ждать, когда возвращающейся с работы маме нажалуются на разрушенное с помощью танго личное пучеглазое счастье, было еще глупее. Геля взяла бадминтонные ракетки — самое дорогое из того, что у нее осталось после утраты Дина Рида, и — была не была — вышла во Двор, рассудив, что лучше принять удар на себя, чем встретить его отраженным маминой истерикой, а потому двойным.

На бадминтон отреагировала Светка Новикова. Играть с ней Геля не любила: Светка, в соответствии с фамилией, так и не поднялась над уровнем капризного новичка, оспаривающего каждый свой промах, как смертный приговор, но за отсутствием выбора смирилась и кинула ей кость самой примитивной подачи. Дворовые Марии варганили ужин своим Светам из продуктов, добытых в семнадцатом, до вечер-

него подкидного оставался примерно час, и отложенное обсуждение Гелю устраивало. Но с чердака неспроста спускался по подламывающейся лестнице неповоротливый Жирный.

— Уделал тебя Олежка? — без обиняков спросил он. — Ну, держись! Пучеглазая с тебя не слезет.

Любое его заявление по определению было двусмысленным.

— Отвали, козел, — сестрински приветствовала брата Светка.

— Сама отвали, — не растерялся Жирный. — Я матери все расскажу, с кем ты по ночам обжимаешься.

Он нерасчетливо приблизился к играющим, и Светка, слегка изогнув стан, с чувством треснула сплетника ракеткой по необъятной заднице. Геля внятно услышала второй за сегодняшний день хруст — оплетенного по внешнему краю ободка. Ракетка надломилась, точно тоже танцевала танго, и струны обвисли, как бельевые веревки. Жирный заржал, тряся животом.

— Ой, — виновато сказала Светка. — Ничего, я изолянткой заматаю.

Геля в молчании проводила взглядом ракетку в последний путь и поплелась к дому. Вторично в Польшу мама не собиралась, но безвинный удвоенный просчет заледенил Гелю, как некогда смерть деда. Поэтому встреча с Махой Кривой уже почти ничего не добавила в копилку нынешних потерь.

— Сволочь такая! — коротко сказала Маша. — Шлюха малолетняя. Вся в мать! Чтоб вам счастья не было, как вы чужое разбиваете.

Геля два дня просидела взаперти, ссылаясь на недомогание, но повторить свою эскападу маме Кривая, кажется, так и не дерзнула. Единственное, за что Геле досталось, это кувшин с питьевой водой, который она выпустила из рук, в очередной раз воспроизводя про себя проклятие Махи. Геля вполне могла успеть подхватить его на лету, но равнодушно проследила траекторию падения, не принимая никаких мер. В голове ее слово «сволочь» само собой заменялось на мелодичное «своллоу» — ласточка. В то (или другое) лето Геля занялась английским: пора было научиться понимать, о чем поют «битлы» на рентгеновских снимках или как борется за гражданские права Джоан Баэз на голубых выдержках из новомодного журнала «Кругозор».

Пучеглазая вскоре завербовалась на север, где женихов было хоть ведром черпай. К пластинкам Геля не охладела, но репертуар сменила бесповоротно, и ее новые музыкальные пристрастия никого, кроме Кости и Бабуль, не заинтриговали. Втроем они без комментариев слушали теперь Моцарта, Гайдна или Вивальди и в память о деду оперу «Отелло» на итальянском, единственно пригодном для оперы языке. Когда доходило до «Крэдо ин ун Дио крудэль», Бабуль пускала слезу. Костя ни разу не спросил о причине. Он становился все безмолвней, уклончивыми манерами все более уподоблялся своим рыбам. Пластинки быстро заезживались, пере-скакивали по нескольку тактов или, наподобие Аркаши-мелифлютики, повторяли одно и то же, и постоянной заботой Гели стало прочищение головки звукоснимателя и добывание новой корундовой иглы.

Валентин по прозвищу Сильвер причитался зятем Сомовой Марусе. Старинный фильм «Остров сокровищ» с песней «Если ранили друга» смотрели по сто раз, а у Валентина не гнулась правая нога, потому его так и прозвали. Марусину дочку, вопреки правилам, вообще звали Ираидой, а внучку Аллой, и обе страшно во-ображали, потому что единственные из дворовой родни приезжали в гости на собственном автомобиле «Москвич-408», а не на городском транспорте: мясо, носимое в штанах Ваней Сомовым, давало стойкий побочный доход. Курсант артиллерий-

ского училища Валентин имел ко Двору косвенное отношение: приходился другом ухажеру Светки Новиковой, несколько раз заявился вместе с ним в увольнение и резался с Гелей в бадминтон еще не сломанной ракеткой самым отчаянным образом. Сильвер тоже не чурался побросать волан и, несмотря на увечье, был маневрен и скор.

Геля обращала внимание на Валентина-Сильвера лишь постольку, поскольку он владел собственными ракетками, причем дюралевыми, повредить которые было сложно даже об задницу Жирного, и таким образом игра снова пошла на подъем, а на Валентина-курсанта — потому, что он вдруг чем-то покори́л нелюдимого Костю и стал проводить увольнительные с рыбами, порой сталкиваясь с Гелей в общей кухне и выходя за ней на крыльцо покурить. Разговора с курсантом не получалось. Геля не разбиралась в артиллерийском деле, а Валентин не читал энциклопедии и не знал, кто написал «Мастера и Маргариту». Журнал с публикацией достался Геле дуриком: она взяла его в читальне горсада со стенда новинок и обратно не вернула, спрятав на выходе за пояс юбки. Этот грех мучил ее значительно меньше, чем копейки из старухиной сумки.

В то (или другое) лето умерла Дуся, одна из мышинных сестер. Похорон Геля избегла — она устала от смертей, как замшелый Данила. Но через некоторое время Бабуль сказала с легкой укоризной:

— Туся ужасно страдает. Близнецы плохо переживают разлуку, а уж смерть одного — и подавно. Ты бы ее навестила. Она спрашивала о тебе.

Геля безрадостно собралась в покаты́й дом, купив заранее в Толмачевском печенье «Юбилейное» в красно-желтой упаковке. Она не обратила на марку печенья ни малейшего внимания, но дотошная Бабуль, приставив к очкам складную лупу в металлической оправе под бронзу, изучила на обертке каждую букву.

— Подумай! — воскликнула Бабуль с торжеством. — Они украли рецепт «Юбилейного»!

— У кого? — флегматично спросила Геля.

— Я его в последний раз видела, когда мамантовцы продукты раздавали, — Бабуль оживилась, заминая ответ. — Фабрика «Сиу и Ко» его выпустила к трехсотлетию Дома Романовых. Потому и «Юбилейное».

— Ко? — озадаченно повторила Геля.

— Ну да. Компания. А они, видно, решили к пятидесятилетию Октября отличиться. Но ничего нового придумать не смогли. Взяли хорошо забытое старое. Но не всеми забытое.

— Давай я это оставлю тебе, — предложила Геля. — А Тусе еще куплю. Двадцать две копейки стоит. Это же не дорого.

— Не надо, — отказалась Бабуль. — Я тот вкус помню. И сравнивать не хочу.

Геля пожала плечами и поехала. По дороге подсчитывала, какие вкусы помнит она. Получилось немного. «Айвинское» варенье непобедимо занимало первую строчку. Вторую — редкостные консервы «Сайра». И, конечно, торт «Наполеон», который Бабуль пекла на мамин день рождения. При этом Геля разумела, что Бабуль имела в виду совсем иное, но сайры, если бы позволили, съела бы целую банку. Нет, две!

Туся — боком к искривленному окну — распускала что-то вязаное. Пальцы у нее были заклеены лейкопластырем, давним, не очень чистым.

— Кофточку вот перевязываю. В третий раз уже, — сказала Туся, не здороваясь.

Насыщенно помолчали.

— Ты, говорят, читаешь много? — оторвалась Туся от сматывания клубка. — Знаешь такого писателя — Экзюкери?

— Де Сент-Экзюперí, — поправила Геля, Делать это было ей против души, но аристократическая фамилия автора «Маленького принца» казалась ей неприкосновенной. Вообще-то она уже усвоила, что не только ошибаться в произношении, но и не знать чего-то — не позорно.

— Дуся все хотела его почитать. Мы по радио постановку слушали, — сказала Туся.

— Я вам принесу, — пообещала Геля, понимая, что обещанием вынуждает себя прийти сюда снова. — У меня журнал есть.

О том, что журнал, тот же, где «Мастер и Маргарита», преступно заныкан, Геля, естественно, умолчала. Книги она в разряд воровства не вносила.

— Давай! — безжизненное лицо Туси ненадолго воспряло. — Хочешь, я тебе поиграю? — Туся отложила пряжу. — Я после Дуси за инструмент не садилась, но вдруг захотелось. Благодаря тебе.

Единственное, чего Геля хотела, это поскорее сбежать от безысходного отчаяния, которое сочилось из каждой щели покатога дома. Но подлости отказать у нее не нашлось.

— Вам не больно будет? — на всякий случай спросила Геля.

Туся вытянула растопыренные пальцы и словно впервые их оглядела.

— Это я окно взялась мыть. Разбила, порезалась. Мне надо чем-то себя занимать, понимаешь?

Туся вдвинула Гелю к стене за роялем и уселась на стоявший без малого в коридорчике табурет. Довольно долго разминала суставы рук, задумывалась, откидывалась на табурете и снова ложилась грудью на крышку. Геля истомленно ждала. Наконец крышка была откинута, а руки положены на клавиатуру.

Живой музыки Геля никогда до этого не слышала — только по радио и с пластинок. Сначала она отвлекалась то на мышинный профиль Туси, то снова на залепленные пальцы, но постепенно звуковые волны втянули ее в ритм приливов и отливов, близость исполнителя перестала мешать, и Геля пала на эти волны и закачалась, попеременно наполняясь то великим покоем, то сладостным и чистым возбуждением.

Туся играла, расходясь руками и сплавляясь с музыкой сердцем, и пластырь на ее пальцах розовел, потом плотно краснел, оставляя полосы на желтоватых клавишах, будто под ними сидел тайный кот и планомерно драл пианиста. Геле становилось страшно и высоко, и когда музыка кончилась, ее заметно потряхивало. Она не спрашивала имя композитора, потому что оно не имело значения — наоборот, анонимность укрепляла тайну внесловесного искусства.

После остужающей паузы Геля сказала:

— Давайте я вас перевяжу.

Они отмочили пластырь, подсушили кровь, и Геля старательно и неумело обматывала каждый Тусин палец тряпочками — бинта не нашлось — с новым для себя чувством жгучей бережности. Долго пили чай с печеньем, и Геля пересказывала «Планету людей», как сама поняла. Покатый дом сделался ее частым пристанищем.

Геля вернулась поздно вечером, успокоила вечно волнующуюся Бабуль и отпросилась ненадолго во Двор — ей не терпелось понизить высоту, которой она достигла так легко и негаданно, хоть глупыми анекдотами про Чапаева. На крыльце сидел курсант Валентин, свесив голову до колен. Когда он встрепенулся, Геля увидела, что Валентин выпил. О том, что человек такой, какой он пьяный, она не забывала. Валентин поднялся навстречу, схватил ее выше локтей и мокро поцеловал в губы. Музыка еще не совсем умолкла и поцелуев с артиллеристом не содержала, тогда как Чапаева допускала без возражений. Геля вывернулась и, сбегаая с крыльца, проскандировала:

Держись, мой мальчик, на свете
 Два раза не умирать!

Курсантское достоинство и степень опьянения не позволили догонять ее, на что Геля и рассчитывала. На киноплощадке собралась вся компания, но среди, как выразилась Гуня, «шепаны» и «тварей» Геля увидела Сильвера. Он восседал, положив негнушающую конечность на лавку переднего ряда.

— Чего он тут? — шепотом спросила она Жирного.

— С бабой поругался, — на пониженных тонах открыл Жирный. — Наказывает.

Наказание, очевидно, заключалось в неприсутствии на семейном ужине с последующим отлыниванием от ночевки у тещи. Машины видно не было. Сильвер между тем что-то рассказывал, и ему внимали. Заслужить внимание Двора было не так легко, и Геля прислушалась.

— Главное, Керн запретил Мари трогать кран. Иначе, мол, голова немедленно умрет. Но голова мимикой показала Мари, что это ерунда. Ей и хочется, и колется, но в конце концов кран она отвернула. Раздалось шипение, и послышался слабый голос — голова заговорила! Тогда-то Мари Лоран и узнала подробности оживления. Этот Керн был ассистентом профессора, тоже хирургом. А у профессора астма, и во время операции случился приступ. Когда он очнулся, отдышался, то видит — тела нет. Керну только мозг его был нужен. Доуэль сотрудничать ни в какую не хотел, а Керн через голову ток пропускал.

— Во гад! — не выдержал Колян Водищев.

Геле немедленно вспомнилась Эйвазовна, оставившая тампон в мамином животе, и впервые она посмотрела на Сильвера с интересом. Лицо у него было меленькое, как и вся фигура, смазливо-игрушечное, но волосы богатые, курчавые.

— А Керн еще двух оживил. Один рабочий, под машину попал, а другая — певичка в кабаке. Профессор всегда головой работал, а этим двум скучно, делать нечего, головы пустые. Ну, Мари их, как может, развлекает, кино крутит. А певичка все просит Керна, чтобы ей тело пришел. Тут Керн просек, что Мари с профессором беседы ведет и журналы ему показывает.

— С бабами голыми? — оживился Жирный.

— Сам ты голый! — осадил его Сильвер. — Медицинские.

На этом месте Геля перехватила взгляд Сильвера. То (или не то) лето запаздывало, словно задержалось на другой работе, и Геля не снимала гранатового плаща из искусственной кожи с охристым кантом по воротнику. Плащ мама достала из-под полы — битва за каждую вещь прикрывалась этой полой, возмещающая унижения. Плащом Геля законно гордилась: такого не было ни у кого. «Эпоха Валентино», — подумала Геля, читавшая журнал «Советский экран» от корки до корки. Она давно поняла язык таких взглядов, но почему-то именно сегодня, после музыки, ответила Сильверу, а не отделалась отводом глаз.

— Вот пусть Геля дальше расскажет, — скромно уступил пальму Сильвер. — Она наверняка читала.

Трехтомник Беляева Геля вправду прочла у отца, и уже довольно давно. Но от Сильвера таких познаний не ожидала.

— Ну ее! — возразил Жирный. — Она непонятно рассказывает. Половина слов нерусские.

Геля вдруг физически почувствовала резкое и само по себе несимпатичное отчуждение и поняла, как книги, музыка, электромеханик Зайцев, церковный двор и даже дурочка на ослике отделили, откинули ее от Двора. Она повернулась спиной к ком-

пани и тихо пошла в направлении ворот. Одиночество, связанное с отлучками близких, ее прельщало, но применительно к дальним сжимало горло удушливым страхом.

— непонятно, потому что вы дупла, — сказал Сильвер ей вслед. — Неучи пролетарские! Никакой в вас благодарности.

Краем глаза Геля покосилась на крыльцо, проверяя наличие курсанта. Крыльцо опустело. Сильвер догнал ее уже на Карлушке.

— Я машину оставил за углом, — сказал он со значением. — Проедемся? Ветерка захотелось перед сном глотнуть.

На негнущейся ноге он двигался резво и по-своему грациозно. Последним автомобилем, которым Геля пользовалась, был ГАЗ-51, увозивший ее из рая. В ад можно было проехаться и на «москвиче». Дошли до оговоренного «за углом», и Геля уселась на переднее сиденье. Тронулись. Сильвер начал с ошибки, которая объяснялась общей неловкостью.

— Из Москвы сам его пригнал. Прямо с завода. Хотел четыреста третий брат, а тут этот. Пришлось, конечно, добавить. Зато колесная база длиннее. Правда, первая скорость как была несинхронизированная, так и осталась. Но за граница покупает. Они что попало не купят, да ведь?

Геля ровно ничего не смыслила в колесной базе и в ответ поленилась хотя бы кивнуть. Остановились на светофоре. Сильвер, ошеломленный собственной дерзновенностью, попытался развлечь ее информацией иного рода.

— А знаешь, светофоры сначала изобрели пятиглазые: по бокам два желтых, сверху зеленый, снизу красный. До конца тридцатых висели в перевернутом состоянии. Я маленький был, помню.

— Сколько же ему лет? — принялась мучительно подсчитывать Геля.

Они вырвались из города на шоссе, по которому, со слов Бабуль, красные драпали от казаков.

— Я тебе сейчас свое любимое место покажу, — суетился Сильвер. — Тут недалеко. Не боишься?

— Чего? — спросила Геля самоуверенно.

— Ну, как чего? — удивился Сильвер. — Вечером, со взрослым мужиком...

— А вы не боитесь? — Геле становилось все смешнее.

— Да я же ничего плохого не думаю, — слишком поспешно вывернулся Сильвер.

— Ну и я не думаю, — сказала Геля. — Зачем тогда спрашиваете?

Проглотил. Скорость была приличная, и Геля открыла окно, повертев ручку. Откуда-то она про нее знала — наверное, из кино. Холодный воздух загулял по салону.

— Закрой, — сказал Сильвер. — Простынешь.

Геля не подчинилась. В ней говорили стихи из хрестоматии, которые сейчас раскрылись, как неяркий цветок, и расшифровали ее состояние, так что добавить было нечего:

И как-то тяжело, больно даже
Душою жить — который раз? —
В кому-то снившемся пейзаже,
В когда-то промелькнувший час.

Сильвер съехал на обочину, в лесную кромешность. Схватил Гелю за руку и приложил под полу куртки. Там набух и двигался невидимый поршень.

«Вот что значит „из-под полы“», — подумала Геля.

— Ты понимаешь? — спросил Сильвер осипло.

Геля вышла из машины, хлопнув дверцей громче, чем нужно. Он тоже вылез и пошел за ней, но скоро вернулся, видимо, боясь оставить колесную базу без присмотра. На шоссе неподалеку было тихо, но светло. Геля шла неспешно и почти бесстрашно. За спиной взревел четыреста восьмой мотор. Сильвер догнал ее и остановился.

— Садись, — сказал он. — Не дури. Я за тебя отвечаю.

Геля села, и они поехали обратно, некоторое время по-прежнему «в кому-то снувшемся пейзаже», потом через тот же светофор, мигавший теперь желтым куриным глазом. Остановились на том же углу. Сильвер снова взял ее руку, но робко и прижал к губам.

— Эх ты, малолетка! — сказал с горечью. — Иди вперед. Там небось охрана уже выставлена.

Мама ждала за дверью. Пощечины Геля не ощутила, но по замаху поняла, что в замысле была именно она.

— Я гуляла, — неизвестно зачем сказала Геля.

— Сволочь! — крикнула мама беззвучно. — Бабуль с давлением. Костя пошел тебя искать.

Геля выскочила задним ходом и успела припереть вторую дверь первой, уличной. Прием был отработан на Люле, когда от него надо было удрать за обрезками кожи к глухонемым. Первая дверь под углом клинила вторую, так что снять ловушку удавалось лишь снаружи. Мама рвалась и билась, но шуметь сверх меры опасалась.

Между крыльцом и Гуниными окнами стояли друг против друга Сильвер и Костя, и Геле бросилось в глаза, что горбун совсем ненамного ниже колченогого. Выкаченная грудь Кости упиралась в ребра Сильвера, а длинные руки обхватили его, будто бы в братском объятии.

— Ты козлина, — дрожащим тенором говорил Костя, понемногу стискивая объятия. — Я тебя убью, козлина! Ты знаешь, сколько ей лет?

Геля подбежала и принялась оттащить Костю, но он упирался в землю расставленными ногами.

— Он этого не сделал, — повторяла Геля. — Отпусти его.

— Уйди отсюда! — Костя на мгновение отвлекся от противника, и этого хватило Сильверу, чтобы пнуть его в пах подвижной ногой. Но на негнущейся Сильвер не удержался и повалился прямо в Гунино окно, пробив его головой. Гуня изнутри заорала не совсем благим матом:

— Ой! Ой! Караул! Тварь фашистгестаповец!!! — ей наконец подвернулся случай произнести фирменное проклятие полностью.

— Уйди отсюда! — твердил согнувшийся пополам Костя, от чего горб топырил рубаху парусом.

Оставалось несколько спасительных мигнов, пока Гуне были видны только ноги, и то плохо. Геля изо всех сил потащила Костю к крыльцу, ухватив за ремень. Костя все не разгибался, и с точки зрения Гели было похоже, будто она волочит мешок картошки. Кое-как втянув аквариумиста на крыльцо, Геля отработанным движением расклинила двери. «На коидоре» они по инерции еще немного поборолись с участием мамы и благополучно втроем втиснулись в кухню. Там стояла Бабуль с пузрычком нашатыря.

— Спасибо, Костя. Идите спать, — спокойно напутствовала она защитника.

Мама мечтала, судя по многим признакам, продолжить воспитание, но Бабуль сказала непререкаемо командно:

— Хватит! — и обращаясь к Геле: — Кушать будешь?

Это детское «кушать» изумило Гелю до потери дара речи, и она мерно закивала, как котенок в ботинке — такую игрушку когда-то привез ей дед.

Бабуль кормила Гелю жареной картошкой, мама всхлипывала в другой комнате. Геля поковыряла еду и сказала:

- Ты говорила, у тебя крестик есть лишний.
- Есть. Не лишний, а твой крестильный.
- Дай. Я буду носить, — Геля услышала, как отяжелел ее голос.

Бабуль из заветной тумбочки, где помещалось все ее нехитрое богатство, включая складную лупу, достала маленький, не больше спичечного, коробок. И крестик в нем был крошечный, на белой тесемке.

- Надень сама, — попросила Геля.
- Бабуль обвинила тесемкой ее шею и перекрестила.
- У тебя неприятности будут, — сказала она.

— Пусть! — сказала Геля непримиримо к будущим неприятностям.

Она разделась и легла на тахту, как всегда, к стенке. Бабуль еще понюхала нашатыря, отдуваясь, и прилегла с краю.

- Пойдем завтра к Тусе музыку слушать, — сказала Геля просительно.
- У Тусечки рак, — сказала Бабуль глухо. — Она в больнице.

«Когда же Туся успела заболеть? — подумала Геля. — Ведь я сегодня ей пальцы перевязывала. Или это было в прошлом году?»

— Значит, пойдем в больницу, — сказала Геля, не вдаваясь в вычисления, и провалилась.

Наутро Геля заболела любимой посреди учебного года, но совершенно не подходящей для лета ангиной. Через два дня, когда не то что глотать, но и дышать не было возможности, а температура не помещалась в градуснике, ее забрали на «скорой». «Только не к Эйвазовне», — думала Геля по дороге сквозь накатывающее забытье. Ее хоть и привезли в ту же больницу у вокзала, где чуть не уморили маму, но положили в совсем другое отделение. В палате она была одна — на соседней койке лежал свернутый матрас.

— Повезло тебе, — сказала нянечка, мывшая в палате полы. — Бабушка тут лежала тяжелая. Умерла вчера.

Температуру сбили уколами. Врач был мужчина, но, по контрасту с Эйвазовной, с женским чистым розовым лицом.

- Тонзиллэктомия однозначно, — сказал он, когда в палату пустили маму.
- Это опасно? — специальным смятым голосом спросила мама.
- Риск осложнений превышает риск операции, — заученно сказал розоволицый. —

Функция защитная ослаблена — интоксикация организма постоянная. Удалять однозначно. Из двух зол выбирают меньшее.

Ему нескрывая нравилось произносить банальности. Он обратился к Геле и закричал ей, как глухой и одновременно умственно отсталой:

- Миндалины будем удалять. Гланды. Чтобы горло не болело.

Собрали анализы. Два дня заставляли то и дело разевать рот и часто дышать. Перед операцией на ночь снова сделали укол. Ягодица в этом месте затвердела яблоком.

Утром принесли белую рубаху с короткими рукавами и сказали:

- Трусов не надевать!

В операционной ей напялили целлофановый фартук и шапочку. Усадили в пыточное кресло. Привязали руки бинтами. Голову обмотали простыней. Геля смотрела на себя как на чужую и успела подумать, что такая самопотеря и есть страх. Возле кресла стояла тележка, прикрытая другой простыней. «Орудия пыток», — подумала Геля.

Не наживший следов мужской растительности врач подобрался, гипнотическим усилием, не касаясь, разинул Гелин рот и, словно фехтовальщик, дважды уколол —

справа и слева. Больно было так, как если бы в горло воткнулась настоящая рапира. Врач сел почти Геле на колени, но привязанными руками согнать его не представлялось возможным.

— Глубоко не дыши. Не глотай. На инструменты не смотри, — приказал он оптом, и Геля немедленно вдохнула полной грудью, сглотнула полным глотком и покосилась, насколько позволяло положение, на тележку. Там лежали крючья, петли и ножи, похоже на бумагорезательные, и стоял лоток в форме почки с анатомического плаката.

В разинутый рот сунулась чужая рука с этим, по виду декоративным, ножом, что-то соответственно резанула, и Геля впервые основательно поняла, что значит «хлынула», когда кровь изверглась из ее рта и, чуть задержавшись на весу, алым водопадом пала на фартук.

«Клубничный сироп», — подумала Геля.

— Не глотай! — напомнил врач.

Геля снова рефлекторно сглотнула в ответ, ее необратимо затошнило собственной кровью, и она мощно срыгнула ее пополам со слюной на операционный врачебный халат.

— Хорошо, молодец! — одобрил врач.

Пока сестра обтирала его и промокала Гелю салфетками, он алчно схватил с тележки петлю, задвинул ее в Гелино горло движением, каким суют в компостер автобусный билетик, и рванул.

— Не теряем, не теряем сознания! — услышала Геля разносимый эхом голос и успела увидеть, как из ее рта вынули в петле Костину пецилию — пурпурную, с черным охвостьем — и бросили задыхаться в почковидный лоток.

«Так вот она какая — душа, — подумала Геля. Потерять сознание назло врачу ей не удалось. — Она, оказывается, пецилия. Как же я теперь буду? Что скажет Костя? Он так ее любил!»

Врач снова зачем-то сунулся во все еще распахнутый Гелин рот пирографом, каким в кружке «Умелые руки» безуспешно учили выжигать по дереву. Запахло шашлычной, куда водил ее отец, — смесью жареного мяса и углей. Из рта пошел дым, но быстро иссяк.

— Вот и все! — сказал врач. — Ахнуть не успела, да?

Геля хотела подтвердить свое неаханье. С нее сдирали мясницкий фартук и весь наряд умалишенных.

— Молчать, молчать! — вдруг закричал врач. — Три дня молчать! Голова не кружится?

Теперь у Гели не было души — не то что головы, но она чем-то отрицательно крутнула. Смертная рубаха была вся мокрая.

— В палату! — скомандовал врач, и бездушную Гелю повели, набросив халат, накануне облитый киселем, на тусклую голизну того, что от нее осталось. Это оставшееся дрожало каждой деталью. Ноги подгибались. Стыда вообще не было.

С кровати сняли подушку, лечь велели на правый бок, положили на обезжизненную шею ледяную грелку и поставили под нос миску, а под кровать судно.

— Сюда плевать будешь, — сказала нянечка. — Только молчи. Вот этой пленкой утирайся. В туалет не вставай. И молчи! Завтра мороженого принесут. От пуза!

Геля утерлась, и пленка покрылась слюнно-кровоавой массой.

Боль началась, как только перестала действовать заморозка. Ледяная грелка помогла ненадолго. Выяснилось, что без души любую боль можно вытерпеть почти равнодушно.

Утром пришла Бабуль с охапкой мороженого. Оно долго таяло на прикроватной тумбочке. Бабуль гладила Гелю по руке и тоже молчала, как пережившая тонзил-

лэктомии. С ложечки попыталась накормить Гелю, но разжиженное мороженое потекло у нее из носа, и процедуру пришлось прекратить.

Ночью Геля выползла в большой холл с обильной комнатной растительностью. На откидном стуле из ряда вдоль стены сидела женщина.

— Не спишь? — обратилась она к Геле — а больше и не к кому было — и сама себя одернула: — Какой глупый вопрос! Ты думала когда-нибудь о том, что на вопрос: «Ты спишь?» — так же нельзя ответить положительно, как на «Ты умер?»

Тема была Геле гжуче близка, но поскольку говорить она не могла, оставалось кивать.

— У тебя что? — спросила женщина.

Геля показала на горло.

— Понятно, — сказала женщина. — Меня зовут Миля. Но это не расстояние. Это Эмилия.

Геля внутренне ооченела от очередного совпадения. Она так и не разгадала, что значит «Абадя». Но если учесть всех Марий, Свет и Валентинов, такие случаи в мире живых, видимо, были рядовыми.

— Мили есть сухопутные и морские, — продолжала нервно оправдываться собеседница, с которой нельзя было вести диалог. — Я предпочитаю морскую — десять кабельтовых. Одна морская миля в час — один узел. В час! А сколько узлов в год? А в сто лет? Не слишком ли узловато?

Геля видела, что Миле безразлична ее немота, — более того, она Милю устраивает и частично спасает от чего-то непроходимого.

— Мне делали аборт под наркозом — по большому благу, — сообщила Миля. — Женщина, которая злоумышленно, тайно и по своей воле убьет ребенка, уже получившего жизнь и сформировавшиеся члены, да будет, согласно обычаю, заживо погребена и прибита колом. Но дабы предупредить смущение от этого, мы разрешаем топить таковых злодеек тем судам, кои имеют подходящие для сего водоемы в своем распоряжении. Это законы Каролина — по имени германского императора Карла Пятого. 1532 год. Ужасы средневековья. Из обвинительной части исчезла только тайна. Тайное стало явным — остальное неизменно. Злоумышленно и по своей воле. Я почему-то думаю, что ты запомнишь этот разговор. Или вспомнишь, когда придет время. Говорят, эмбрион защищается от иглы. Выставляет ручки вперед, как вратарь.

Миля встала и ушла.

На следующий день у Гели продолжало вытекать носом все, принятое ртом, но уже не пугало, а смешило. Вошла нянька и ревниво сказала:

— Пришли к тебе. Ждут во дворе.

Геля не могла спросить кто.

Больничный двор был заполнен посетителями, кормившими хворых родственников с таким усердием, как будто только что прорвали блокаду. Навстречу Геле поднялся курсант Валентин.

— Я от Кости узнал, что ты болеешь. Вот груш тебе принес — из нашего сада. Я дома был, в деревне.

Геля, за завтраком едва успевшая подобрать молочные сопли, полившиеся в кружку, взяла кулек твердокаменных зеленых бесполезных груш и показала, что не может говорить. Из двери приемного покоя вышла Миля с мужчиной в дорогом начальственном костюме. Был час выписки.

— Ты выздоравливай, — сказал Валентин обязательное.

Геля покивала и вернулась в казенный дом.

Вечером явилась мама, съела новые закупки мороженого и заявила:

— Едем к морю. Тебе необходимо окрепнуть.

Назавтра безголосую Гелю выписали. На Карлушке она первым делом забежала к Косте.

— Привет! — радостно-дрожливо сказал Костя. — Все о тебе спрашивали.

Никого, кроме рыб, по обыкновению, в комнате не просматривалось. Геля заглянула в аквариум, где металась от стенки к стенке живехонькая, словно никогда не выбрасываемая в заплыванный лоток пецилия.

— Я мальков отсадил, — сказал Костя. — Вот она и переживает.

Геля подумала, что теперь, пусть и ненадолго, они, по крайней мере, сравнялись с пецилией немотой и бустрофедонным перемещением с края на край.

— Грекам везде волю мерещатся. Воловьёв культура, бычьи мозги, — сам набычившись упрямством, делающим голос похожим на удар молотка о дерево, сказал Алейпт. — Священные символы Зевса — дельфин, орел и лев. Быком его представляли пастухи. «Образ скрыл бога и, вид изменивши, в быка превратился...» Почему бы ему не подкатить к Европе в образе дельфина? На морском-то берегу?

Спор о том, кто похитил и куда увез сидонскую царевну, сопровождал утреннюю трапезу не впервые. Алейпт любил перекусить здесь, на кладбище северо-восточнее перешейка Селлады, между Периссой и Камари, среди голых куросов с выдвинутой левой ногой и кор с плоскими улыбками, на холстине с неотмываемыми пятнами оливкового масла и печеной рыбы. В эту же тряпку был завернут и нынешний завтрак: лепешки, козий сыр, зелень. Воду пили из ручья, холодного до зубной лоты, бегущего неподалеку от стелы, которую Латипос подрядился украсить эпитафином. Вина Алейпт не употреблял, хотя напиток богов привезли на Феру его любимые финикияне. Но Алейпт старомодно считал вино жреческой привилегией. Латипос был с этим не согласен в корне, однако с учителем не спорил. Вина в округе водилось — хоть залейся.

Ставить стелу над водой было не лучшим замыслом. Заказчик не хотел, чтобы его жену кто-то видел даже каменной и задрапированной, поэтому велел водрузить над погребальным сосудом не кору, а простое надгробие из пирейского пороса, серо-желтоватое, с круглым навершием. Алейпт подозревал, что это от жадности, но Латипос так не думал. Он вообще старался избегать какого-то отношения к заказчикам, но учитывая, что женщинам почти никогда не заказывают эпитафии, понимал, что этот вдовец свою суженую любил. А может, она оставила ему такое наследство, что заслужила, по крайней мере, известняковой памяти.

Латипос слышал много разных версий похищения. Взгляд его тихо плавал. От многометрового трехслойного жерла вулкана к буро-красной рогоже берегового песка, похожей на настоящую, какая, чуть трепеща, покрывала теперь стелу от соленого ветра, и оттуда — к черно-фиалковому гляncy содержимого бездонного котла — кальдеры, образовавшейся после катастрофы и заполненной беспрепятственно хлынувшей эгейской водой.

Алейпт, выросший в лабиринтах Пиргоса и привыкший смотреть на Феру сверху вниз, как все горцы, отличался заносчивостью. Из Пиргоса можно было увидеть даже скалы Крита. Латипос был родом из портовой Периссы, и мать его, как все местные женщины, трудилась на сборе шафрана и пропиталась его запахом до корней волос. Говорят, из пасти быка, укравшего царевну Европу, тоже несло шафраном. Отец Латипоса, как все мужчины, рыбачил и навек провонял подтухшим на жаре клюворылом. Песок в Периссе черный и море открытое — не то что вулканическая яма кальдеры. Зато водоросли красные, и рыбы мечутся туда-сюда, словно натываясь на

прозрачные стены и в ужасе поворачивая назад, уже успев забыть, что там их встретит такая же незримая препопа.

История Агенориды куда меньше занимала его, чем история ее брата, привезшего грекам дар, который кормил плоть Латипоса и давал пищу воображению. Именно воображение подвигло его на выходку, которую после завтрака предстоит оценить Алейпту и которая, возможно, будет стоить Латипосу работы. Зачем он выкинул такой фокус, Латипос и сам не знал. Впрочем, как отреагирует Алейпт, тоже. Латипос был уверен, что человек непредсказуем, и не любил голословных «так я и знал». Никто ничего не знает о другом! И Алейпт, не верящий в то, что Зевс-громовец обратился быком, чтобы унести Европу через море, тоже ничего не знает, но лишь представляет ход событий, хотя в логике ему не откажешь. Но на всякий случай Латипос оттягивал обнаружение Алейптом его затеи и делал вид, что ужасно интересуется похождениями дочери царя Агенора.

Он тоже не особо верил в то, что Европа ни с того ни с сего взгромозилась на спину быка и, ловкая, как дельфин, не прыгнула в прибрежное мелководье.

— Как же это критяне перехитрили финикиян — первейших мошенников среди народов моря? — равнодушным голосом спросил Латипос, изо всех сил провоцируя Алейпта.

— Повторяешь ерунду, которую нагородили ревнивцы и завистники, — начинал горячиться Алейпт. — Есть народы, которые создают мир, и народы, которые этим пользуются и уводят создателей в тень.

— Это греки, что ли, завистники? — придал ехидства Латипос.

— А кто? Столько получив от хананеян, могли бы и помолчать, если уж лишены благодарности.

— За что нам их благодарить? Мы и сами с усами. Ну, допустим, они — пронырливые торговцы и хорошие мореплаватели, — Латипос успевал поднажать, чтобы вывести разговор на нужную тему.

— Торговцы? — возмутился Алейпт. — Да, Зенон был купцом. И что с того? Вся так называемая греческая философия вышла из его финикийских воззрений. Вторые всегда хотят стать первыми.

Латипос был уверен, что греки первенствуют во всем, но показывать этого Алейпту не решался: тот намного превосходил его знаниями.

— А Кадм? — Алейпт наконец выворачивал, куда надо. — Он тоже мошенник? Вот ты выбивал на стеле эпитафион. — Латипос насторожился. — От кого ты знаешь буквы?

— От вас! — подмахнул Латипос.

— А я — откуда?

— От своего учителя, — брякнул Латипос.

— Это та же сказка про белого бычка, что с похищением Европы, — отмахнулся Алейпт, впрочем, явно польщенный. — Только тот, кто признал первенство другого, а не присвоил его, может считаться мудрым. Бог в образе быка — древнейший образ. Священное животное приносили в жертву, совершали очистительные ритуалы, а потом устраивали игры. Быка разгоняли, и на полном скаку через его спину прыгали девушки.

— Но ведь первая финикийская буква — тоже бык, — попробовал возразить Латипос. — Наша «альфа». По-ихнему «алеф». Бык и есть. И Дельфийский оракул велел Кадмосу следовать за коровой, которая показала ему место закладки Фив. Да имя Европа что значит, как не «волоокая», то есть быкоглазая.

— Это совсем не то, — поморщился Алейпт. — И не зови ты его с греческим окончанием. Он Кадм, сын Агенора, царя Сидона и Тира.

Так он всегда морщился и примерно так бормотал, когда ему что-то было не по нраву.

— И почему ты переставляешь местами причину и следствие? — Алейпт пошел в наступление. — Нет чтобы сначала назвать исток — «алеф», а потом устье — «альфу»! Вечно эти греки все извратят!

— А вы не грек, что ли? — огрызнулся Латипос, неожиданно для себя почувствовал укол обиды.

— Я — ферянин, — приосанился Алейпт. — Ты думаешь, Фера — просто терраса над морем? Нет, это имя лакедемонянина, который привел сюда спартанцев на трех тридцативесельных кораблях, спасая их от вероломных минийцев, потомков аргонавтов. Но это случилось через восемь колен после высадки Кадма. Я — каллистиец, отпрыск Мемблиара, сына Пойкила. Кадм оставил его здесь начальствовать над поселенцами. Я — эласонец: Элассоном звали остров при атлантах. Я — стронгилит, наследник идеально сферического пространства, Стронгилы. Какой я грек? Мои предки ушли от вулкана в море, оставив дома́ и пожитки. Под нами лежат засыпанные лавой города с четырехэтажными жилищами и весь скарб. Когда-нибудь их найдут и увидят, что на Каллисте — прекраснейшей из земель — не испражнялись на улице и омывались в ваннах. Очистят наши прекрасные фрески, ритоны и прохусы с двойными ручками в форме женской груди и все, что не поглотило море, устремившееся в кальдеру. И не обнаружат ни одного человеческого скелета, ни одного украшения. Это все лежит на дне, если феряне погибли, или служит на благо их потомков, если кто-то спасся. Наша культура старше критской, но критяне этого никогда не признают.

Пафос Алейпта нарастал, и Латипос предпочел вернуть наставника слегка назад.

— И что же, Европа прыгала через быка и застряла у него на загривке?

— Вполне возможно. Ты лучше подумай, почему ее братья, которым отец их, царь Агенор, приказал не возвращаться, пока не найдут сестру, так и не нашли ее.

— Плохо искали. Или не там, — Латипосу ненадолго стало интересно. — Может, им надоело жить под надзором отца, и они рады были от него улизнуть? А Европу охранял сам Зевс! Приставил к ней Лайлапа и Талоса. Попробуй у них отбери!

— И ты веришь в ходячих медных истуканов? — уничижительно скривился Алейпт. — Слушай, я ведь много старше тебя, но уже в детстве смеялся над этими фантазиями. Лайлап — просто верный пес, причем не Европы, а Прокриды, жены охотника. В этих мифах такая путаница! А великан Талос рожден развитием металлургии, дружок. Металлон плюс эргон. Ведь железо, олово и медь в бедной нашей земле не водятся. Только серебряные рудники в горах Лавриона — и те выработаны. Мы лес из Македонии завозим. Что уж говорить о металлах? Вот и насочиняли медных великанов, пока дети в штольнях сгибались в три погибели и тюкали молотами. А Европа мирно жила в Тевмессе, что в Беотии, там и родила сыновей. И, потвоему, Кадм, заложивший по соседству Фивы, этого не знал?

— А, это где лисица в пещере пожирала младенцев? — припомнил Латипос. — Но как тогда она попала на Крит?

— Насчет лисицы не знаю. А царевну похитил ахеец Астерион. Так полагалось по их обычаям.

— И Кадмос... ну, Кадм обошел стороной Крит, зная, что сестра там? Ерунда какая-то!

— У сыновей Агенора были другие задачи. Он — Кадм, что значит «восток». Поиск сестры был условием сделки Агенора с Кадмом, Фениксом, Киликом и Фасосом. Заметь, от всех царских сыновей, кроме Кадма, сохранились лишь греческие варианты имен. На пяти кораблях вышли братья в море, а когда корабли скрылись с глаз

любопытствующих, то разошлись в разные стороны. И никто не ведал, куда они направились. Во Фракию, в Ливию, где от зноя мутится разум, или в страну гипербореев.

— Но Минос, Радаманф и Сарпедон — дети Вершителя?

— А кто знает? — пожал плечами Алейпт.

— Ахеец-то знал? — понадеялся Латипос.

— Думаю, и он не знал. Европа ему голову заморочила этим быком. Что финикиянам Зевс? Они поклоняются Великой Матери. Но Астерион страшился Талея, как звали Зевса критяне, иначе убил бы чужих сыновей. А так — смотри сам. Минос стал царем Кносса, критской столицы. Радаманф дал критянам законы. А Сарпедон, любивший мужчин, помог своему дяде Килику и стал ликийским царем. Кадм принес ферьянам шестнадцать букв, навсегда изменивших ход событий. Каждый выполнил свое предназначение. Европа стала Великой Матерью Крита. Без хотя бы небольшого обмана великим не станешь.

— Но зачем Кадм высадился на Фере? Ведь остров столько веков после извержения лежал в запустении?

— Чудак человек! — огорчился Алейпт. — Фера — идеальная гавань между Критом и материком. Когда бы Кадм просто хотел отдохнуть, не основал бы здесь колонию. Но Эгейя всегда спокойна, а торговля — наоборот — неумна и всегда ищет новых путей сбыта.

Латипос понимал, что близок к цели беседы, но у него зверски чесалась спина. Вероятно, подстилка шлюхи, у которой он ночевал, кишела блохами, но пока девка ездила на нем, он этого не замечал. Латипос потерял власть о надгробие и осторожно перешел к делу.

— Но разве буквы придумал не Паламед?

Алейпт встал, поправил пряжку на хитоне, размял захрустевшие члены и долго смотрел в небо.

— Ласточки так и не вернулись на Феру после извержения, — наконец сказал он. — Стронгила изгнала их, видимо, навсегда.

Латипос терял терпение, и только отдаление ожидающей учителя неожиданности сдерживало его. Имя вулкана, уничтожившего самый южный из Кикладских островов, давно никого не пугало. Алейпт старел и все дальше вглядывался в невозвратное.

— Ты хочешь знать, кто придумал буквы? Все великие изобретения имеют одного отца. Но неблагодарные дети расхватывают наследство по кусочку. Буквы создал Таавт. Финикияне сделали его богом, что справедливо. Ибо время разрушит все, а письменность останется. Как и египтяне, они считали величайшими тех, кто измыслил нечто полезное для жизни и просвещающее народ, дающее ему толчок к развитию. После смерти таких благодетелей им строили храмы, освящали стелы и жезлы и устанавливали праздники. Имена своих царей они дали мировым стихиям, а из стихий почитали только солнце, луну и планеты. Таавт стал богом мудрости, пусть и смертным. Из всех живущих под солнцем он первым начал записывать мысли и истории. Историей становится только записанное — остальное превращается в миф. В беритском храме Йево хранились его книги о сотворении мира. Их глубоко изучил Санхунйатон, великий человек, возжаждавший познать начало всего и все дальнейшее, произошедшее от этого начала.

— Он тоже написал книгу? — не унимался Латипос.

— Да, опираясь на сочинения Таавта, как на фундамент, и не забыв указать его первенство. Египтяне называют финикийского бога письмен Говт, александрийцы — Тот, а греки зовут Гермесом, чтобы увести от первоисточника подальше. А критянин Паламед — герой троянской осады, не то побитый камнями за несовершенное предательство, не то утопленный Одиссеем большеухим в отместку за его собственную

трусость. Главный паламедов подвиг остался в трухе из мешков пшеницы, доставленной им из Фракии и накормившей голодное войско. Улисс не сделал и этого. Паламед — достойный командующий. Он и маяк изобрел, и диск, и шашки, и систему мер и весов. Не хватит ли с него? Ну, хорошо, бросим в копилку его славы еще и три буквы: тету, фи и хи. Надо же нам добрать до двадцати двух, не так ли? Но письменность все равно будет зваться даром Кадма. Ты доволен?

— Я за справедливость, — Латипос услышал свой голос со стороны. Он сочился, как виноград в давилльне.

— Забудь это слово, — сказал Алейпт. — Справедливости нет. Есть память, но она — как неверная жена. Верность сохраняет только письменность. Ее называют второй памятью, но на самом деле она — единственная. Ты бы привел еще продажного поэта — Симонида Кеосского, за вознаграждения готового воспеть любого прохвоста. Не его ли эпитафионом украсил ты стелу?

— Нет, — поспешно выдал Латипос, хотя Алейпту был прекрасно известен исходный текст высечения.

— И на том спасибо, — поклонился Алейпт. — Симонид оттеснил великого Пиндара на обочину, подбирал и приукрашивал расхожие изречения, хвастался тем, что на поэтических состязаниях получил в награду пятьдесят шесть быков и треножников. Но ему этого было мало, и он распространил слух, будто изобрел двойные согласные и долгие гласные, хотя всего-навсего ввел их в употребление. Кстати, для надгробных надписей. Ты ведь наверняка выдолбил на стеле и кси, и пси, и эту, и омегу, завершающую алфавет?

Латипос впервые в этот момент осознал непоправимость того, что натворил, и прибегнул к очередной уловке, оттягивающей возмездие.

— И что же там было — в начале всего? До чего докопался премудрый Таавт?

— Там были Время, Страсть и Облако. Когда Страсть и Облако полюбили друга и совокупились, от них родились Воздух и Дух. От Воздуха и Духа появилось яйцо. Яйцо расколосось на две части, и верхняя стала небом, а нижняя — землей.

— Но и до Кадма как-то писали, — Латипосу поднадоели все эти дуновения.

— Писали, если можно назвать письмом зарубки на деревьях, египетские каракули и неудобочитаемый силлабарий, которым кичились критяне. А сами называли писцов финикастами — знатоками финикийского письма. Дар Кадма — это величайший сдвиг, сравнимый со взрывом Стронгилы, только не разрушительный, а созидательный. Финикияне первыми оценили алфabetику, когда буква равна звуку. По форме большинство греческих букв остались похожими на финикийские. И даже такой ленивец, как ты, смог овладеть письмом. Писцы перестали изображать посвященных и драть деньги с неграмотных купцов. Сильные мира сего потеряли часть силы. Хватит, однако, болтать. Пора принимать работу. Показывай, что ты там накорябал.

Латипос всегда хотел резать глипты по рубину или аметисту, рельефно изображать сцены охоты и войны. Еще доходнее были печати с богами, жрецами и вельможами. А больше всего ему нравились сердоликовые камеи. Латипосу даже снилось, как он на специальном станочке режет вслепую, сквозь слой масла и алмазной пыли, смывком, снимая с камня тончайшие слои. Но денег на взятку за обучение не было. Алейпт же с учеников мзды не брал, провощенные деревянные церы, на которых писали тексты, утверждали их в магистрате и потом переносили на плиты, не стоили почти ничего. Работа сама по себе неплохая. Да и зря, что ли, грамоте учился у того же Алейпта? Мог бы при желании стать и гипограмматеем, а там, глядишь, выбиться и в секретари, но больно уж ответственная должность, да и зависимость к тому же. Зубило и молоток надежнее.

Правда, на освоение прямого четырехугольного шрифта для высечения понадобилось время, но не столь большое, как на зубрежку букв. К тому же Алейпту, который издавна служил софронистом — воспитателем юношей, по жребию выпал белый боб, и он теперь стал эпимелетом. Ему поручили наблюдать за порядком на кладбище. Латипос расценил это как волю богов. Работать по известнякам хоть и пыльно, зато споро. Это не так долговечно, как мраморные фигуры, которые Алейпт называл сокровищем Киклад, но на жизнь хватает. И даже на шлюх.

К ремеслу камнереза он привык и многое делал, уже не замечая действий. Ставил леса на высоту надписи. Размечал пропорции. Рассматривал и трогал камень, определяя направление слоев. Смачивал его, чтобы ярче обозначились линии изгибов. Наклонял резец под нужным углом, не пользуясь отвесом. Научился избегать «каменных ушибов» из-за слишком острого угла, когда камень белел, как мертвец, и на готовом изделии оставались неустранимые пятна. Высекал от края к середине, но уже не боялся и краев, ударяя молотком глубоко, мягко и в направлении неизбежных на любом камне мелких трещин.

Многое зависело от того, насколько тщательно камень подготовлен для высечения. Отесчики те еще лоботрясы. Если при резьбе вдоль трещины отколются даже крохотные чешуйки, намаешься до одури при шлифовании. А борозды должны быть одинаковыми по глубине и не съезженными по краям. Камнерез то и дело меняет точки удара, а туловищем и руками владеет не хуже гимнаста. Если бы надпись была в одну строку, как просят скупые заказчики, он бы не совершил открытия. Но этот, сэкономив на камне и кóре, размахнулся аж на четыре строки. Латипос помнил все свои надписи наизусть, а эту — лучше остальных, пусть она и казалась ему косноязычной:

Слез не могу сдержатъ:
Над могилою стела —
Памятник нашей любви.
Как же ты рано ушла!

— Ну, что стоишь? — разбудил его Алейпт. — Снимай тряпку, давай смотреть.

Латипос прынул назад, но справился с собой и пошел к стеле. Он понимал, что тянуть дальше бессмысленно. Сорвал рогожу и стоял, словно курос. Алейпт приотстал: он в последнее время вообще заметно сдал. И видеть стал хуже.

— Может, не заметит? — мелькнуло у Латипоса.

Он усмехнулся от собственного мальчишества: Алейпт славился дотошностью и воспитанников изводил, пока не добивался своего.

Софронист подковылял к могиле, прищурился, защитив глаза ребром ладони. Кинул взгляд вверх. Время потекло густо, как тимьяновый мед. Алейпт, кряхтя, осторожно взобрался на леса. Смотрел на стелу долго, гораздо дольше, чем требовалось для прочтения.

— Ты рехнулся? — спросил он, не глядя вниз, достаточно спокойно и крайне устало. — Что ты сделал? Зачем?

— Даскалос... Пэдагогос... — залепетал Латипос снизу. — Учитель... Я сейчас объясню.

— Подожди-подожди... — зачистил Алейпт, колеблясь на площадке и поставив руки враспор, как делают, не желая слушать собеседника. — Я хочу сам понять. Тебе что, работа не нужна?

— Нужна, — вздохнул Латипос. — Еще как нужна!

В голове разом сложилась причудливая фигура всех долгов и неутолимых желаний.

— Так, — Алейпт словно отряхнулся от тяжелого сна. — Лезь сюда. Давай разбираться. Значит, ты, как обычно, шел слева к середине.

— Да, — вскарабкавшись на площадку, подтвердил Латипос очевидное.

— Дошел до правого края, — продолжал расследовать Алейпт. — Загнул строку вниз...

Он ощупывал надпись, как слепой, водя по каждой бороздке пальцем.

— Затем повернул назад... Но не прервал работу, а стал выбивать буквы наизнанку. Так?

— Да, — сказал Латипос.

Бояться разоблачения оказалось не столь мучительно, как слушать эти догадки.

— Затем снова дошел до края и снова избежал пустой проходки в обратном направлении, завернув слово теперь кверху. Стало быть, две строки получились обычными, а две зеркальными. И как это назвать?

— Бустрофедон, — скороговоркой пробормотал Латипос.

— Ка-ак? — слово отшатнуло Алейпта от надгробия, и он ухватился за Латипоса, чтобы не свалиться вниз.

— Бустрофедон, — повторил ученик, прочистив горло. — Бык идет за плугом, и пахарь не дает ему отдыха в конце борозды.

— Да ты поэт! — насмешливо воскликнул учитель. — «Или, изогнутый плуг волоча, пересекает им землю». Так, что ли?

— Так, — повторил Латипос, вдруг почувствовав уверенность.

— Вот до чего доводит лень! — назидательно, но полушутливо припечатал Алейпт, начиная осторожное схождение. — Вот к чему ведут бычьи мозги. То есть тебе надоело двигать леса вхолостую, и ты испещрил камень абракадаброй? И что мы скажем заказчику?

— Он неграмотный, — поспешно вывернулся Латипос и спрыгнул на землю. — Для него это немой узор, не более. Он будет смотреть только, ровно ли лежит строка.

— Откуда ты знаешь? — через паузу спросил Алейпт.

— Я проверял. Я дал ему табличку с заготовкой. Он смотрел на нее, как баран на солнце.

Алейпт отошел от стелы и присел на постамент куроса, изображавшего юношу с конским членом и плотно прижатыми к бедрам руками.

— А на табличке ты тоже так вывернул?

— Нет, — возразил Латипос. — То, что имеет смысл для камня, глине и свинцу не нужно. Там рука с молотком не заслоняет букв. И это не лень. Это змейка.

— Какая еще змейка? Которая ужалит твоего быка? — усмехнулся Алейпт.

— Ну, цепочка, — уточнил Латипос. — Которая делает текст связным, а не прерывистым. Воловья пахота. Бустрофедон. И притом это красиво.

— Так ты нашел способ письма на камне? — словно только что догадался Алейпт. — Ты совершил открытие? Ты хочешь стать бессмертным?

— Хочу, — сказал Латипос, снова охрипнув. — А кто не хочет?

— На камне вечно писать не будут. Ты же это понимаешь. Уже давно пишут на папирусе, на коже, на пальмовых листьях, на подкорье липы, на ионийском льне. Даже на глине писать проще. А там еще что-нибудь придумают. Человек всегда будет искать облегчения. Как и ты его ищешь. И это облегчение будет сжимать вечность. Она сократится до дня, а потом и до часа. Рано или поздно мир станет одноразовым, как еда и вода. Если нельзя дважды войти в одну воду, то нельзя дважды и съесть одну лепешку.

— Только камень останется, — твердо сказал Латипос. — Конечно, и он не вечен, и Стронгила это доказала. И Талос, в которого вы не верите, выворачивал скалы и швырял их в чужие корабли. Но если что и сохранится, так это камень.

— А на нем — твой бустрофедон? — насмешливо подхватил Алейпт. — Он не приживется.

— Почему? — спросил Латипос.

Глаза его жгло, точно перца насыпали. Он старался проморгаться, но не получалось.

— Потому что во всем должна быть система. Единообразие. Иначе мир погибнет еще раньше, чем задумано богами. Если даже разум большинства перевернется, как твоя надпись, и люди начнут писать слева направо, то сначала подведут под это закон. И будут наказывать всех, кто его нарушает, а потом смеяться над ними...

— Что, не примете работу? — перебил Латипос речистого софрониста.

— Не приму! — отрезал Алейпт.

Ученик присел рядом с учителем. Двойное молчание напрягло воздух, и он погуживал, накапливая ярость, как готовящийся сняться с гнезда осиный рой.

— Вы просто боитесь. Старое избегает нового. Вы даже тунику не меняете, — сказал Латипос безжалостно.

— Что ты знаешь о страхе, молокосос, — в голосе Алейпта не было самого чахлого вопросительного оттенка.

Он встал, подошел к ручью, горстью наплескал воды в лицо и напился.

— Нет, — сказал Алейпт. — Не вернутся сюда ласточки. Никогда. Я это сегодня окончательно понял.

Ни распаренные очереди в столовую, ни жидкое пюре, ни даже военпред, сопровождавший маму и в каждую фразу вставлявший не менее трех «значит», — ничто не раздражало Гелю так, как общий пляж. Первые два дня она, чтобы не обижать маму, которая ради нее жертвовала пляжем санаторным, более чистым и менее людным, терпеливо покоилась на лежаке с утыканным окурками и пахнущим мочой серым песком под носом, шла в нестерпимо мокром купальнике переодеваться в дальнюю кабинку вместе с квадратными тетками. На третий день отнекалась девичьим недомоганием, и ее с облегчением оставили в покое. Раз в день военпред по заданию мамы забегал проверить пост и к обычному «значит» прибавлял еще четыре «так».

Покой обеспечивался в домике музрука Акопа, армянское имя которого донельзя походило на русский «окоп», но Геля была уже благодарна, что не Валентин. Домик, точно так же обросший жимолостью, как Митрофаньчев, стоял под казарменными корпусами санатория Минобороны, на спуске к морю. По утрам и вечерам Акоп на аккордеоне услаждал военпредов и их спутниц «Прощанием славянки» и «Дунайскими волнами». На самом деле спуститься вниз, не свернув шею, не было ни малейшего шанса, что Гелю устраивало. Прямо из окна ее комнатки с низким потолком и волнящимися «шубой» стенами можно было бесконечно смотреть на море.

В отношениях с ним Геля выбрала, как ей казалось, единственно верную дистанцию, с которой были очевидны его перемены в течение дня, а ему не докучало барахтаньем хоть одно тело. Сегмент, видимый с точки обзора, представлялся тоже достаточным. Воспринимать море в большем объеме казалось почти кощунством. Оно зависело от неба, но ведь и небо человеческий глаз видит лишь долями. Прозинь и празелень, то переходящие друг в друга, то друг друга сменяющие, на закате подпаливались йодисто-красным, а на восходе отдавали бирюзой со спиртовыми сполохами. Но самим собой море было ночью, когда только слух и обоняние знали о его присутствии. И южная непроглядность, и ровные моторчики цикад, и взлеты ветра поверх изредка взблескивающих черной листвой кустарников — все работало на непостижимое предприятие моря. Геля засыпала, когда этот многопрофильный завод ненадолго смолкал.

Акоп совсем ей не досаждал, только его сын Саркисик, готовящийся к роли первоклассника и трепетно-романтически ждавший осени, иногда просовывал в дверь вороную голову и учтиво спрашивал:

— Покушать будешь?

Вечерами Геля нетерпеливо играла с ним в «дурака» и отводила глаза, когда Саркисик поджимал под себя ноги и из его трусиков вываливалась толстенная сосиска с двумя сморщенными котлетками. Она ждала, когда останется с морем наедине. Появления квартиранта Сергея Геля не замечала до тех пор, пока он не спросил, где она питается, и не попросил занять ему очередь в столовой. Они цедили пюре кисельной консистенции и немного болтали. Сергей учился в московском вузе — кажется, техническом, потому что Гелю это совершенно не заинтересовало. Был серьезен и словно досуха выжат.

— Сессия приморила, — сказал он. — ТММ. Знаешь, как расшифровывается?

— Нет, — сказала Геля, вообще-то не любившая признаваться в незнании.

— Тут моя могила, — пояснил Сергей.

Зачем так мучительно изучать могильное дело, Геля не постигала. Чтобы превзойти эту науку, достаточно сдать на удаление миндалин.

Разделавшись с развлечением Саркисика в один из наиболее стояче душных вечеров, Геля совсем уже расположилась для созерцания и дыхания, когда Сергей заглянул в ее комнатку.

— Слушай, — деловито сказал он. — Ты танцевать умеешь?

— Интуитивно, — отозвалась Геля не без остроумия.

— Это как? — не понял Сергей.

— Ну, то есть я знаю, как это делается, но пробовала только однажды, — пояснила Геля.

— А-а-а, — сказал Сергей. — Слушай... В общем, давай вместе учиться. Мне одну девчонку надо охмурить, а она танцевать любит.

— Музыки нет, — нашла Геля спасительный предлог. Она с неудовольствием уразумевала, что у нее собираются украсть ночное море.

— В санатории танцы, — осведомленно сказал Сергей.

— Нас туда не пустят, — успокаиваясь, привела Геля аргумент.

— Там местечко есть рядом. И фонарь. Я уже разведал. Пластинки у них из древнего мира, но для тренировки сойдет.

Возразить было нечего. Местечко оказалось небольшой площадкой, засыпанной щебенкой, — очевидно, под какой-нибудь киоск. Из санатория действительно раздавалась музыка — танго «Маленький цветок». Геля немедленно вспомнила несчастный опыт перегибания с Олегом и не удержала в себе смеха.

— Ты чего? — серьезно осведомился Сергей.

— Так, — сказала Геля.

Они встали в стандартную танцевальную позу. Ни о каком танго Сергей и не помышлял, а просто затоптался на месте, иногда подвигая Гелю назад, как мебель. Ей было неохота давать наставления и мечталось о комнате с «шубными» стенами.

— Нормально? — спросил Сергей.

— Тебе надо в кружок записаться, — сказала Геля.

— Нас в сентябре на картошку отправят, — разъяснил партнер. — Там в клубе танцы, и время есть на кадрж. Вернемся — запишусь.

Пластинка заиграла что-то незнакомое, инструментальное, щемящее. Сергей понемногу расковывался, двигался плавнее и не так нажимал Геле на плечо.

— Тебе сколько лет? — спросил он.

Геля сказала.

— Я думал, больше, — разочаровался Сергей. — Ты такая умная.

— Откуда ты знаешь? — спросила Геля, вместо того чтобы скромно отрицать за-
явленное.

— Лицо у тебя такое... — Сергей не стал вдаваться.

Музыка действовала постепенно, как вино, и они сближались, соприкасаясь ще-
ками. Сергей сомкнул руки у Гели на спине и вел ее, не сбиваясь с такта. В какой-
то момент соприкосновение стало чревато поцелуем, и они оба это поняли, но музы-
ка оборвалась. Судя по всему, отдыхающим было пора на боковую.

— А пойдем купаться? — предложил Сергей, и Геля почувствовала, что танц-
класс может иметь последствия.

— До пляжа неохота пилить, — сказала Геля нарочито грубо.

— На санаторный пойдем. Там дырка в ограде есть.

— Там сторож в будке есть, — уточнила Геля.

— Да он давно пьяный, — со знанием предмета сказал Сергей.

— Я без купальника, — с последним сомнением сказала Геля.

— Ну, так и я без плавок, — впервые засмеялся Сергей.

Они обошли фасад санатория и спустились по лестнице к пляжу. Дырку Сергей
нашел оперативно. Песок под ногами ощутимо отдавал дневной жар.

— Штиль, — сказал Сергей.

Геля давно догадалась, что искать у моря следствия простых школьных причин —
занятие напрасное. Оно вело себя так, как считало нужным, и все морские познания
были чисто умозрительными. Волна вправду понизилась до ряби, напоминающей
стиральную доску и лицо Феди Водищева, но, может, именно поэтому море издавало
недовольное шипение, как будто на раскаленную сковородку упала капля масла. Ге-
ля плавала по среднерусским меркам неплохо, но здесь действовали совсем другие
законы, о которых она имела самопроизвольное или — что опаснее — книжное пред-
ставление. Дурной восторг, подкатывавший к груди, толкал на приключения. Она
кинематографически, на ходу, сбросила сарафан и пошла в воду, краем глаза замечая,
что Сергей медлит, но не потому, что трусит, а потому что без плавок.

— погоди! — крикнул Сергей, сбрасывая штаны. — Я сейчас!

Геля полезла в воду, выставив руки. На зыби лежала преломляющаяся лунная по-
лоса. Море дышало мерно. Неожиданно Гелю подхватила непреодолимая сила и по-
тащила вперед. Она попыталась бороться, изумляясь этой тяге при таком слабом те-
чении, повернула назад, но ее отбросило сразу на несколько метров, и она увидела на
удаляющемся берегу нагого, мечущегося взад-вперед, как пещиция, Сергея. Геля
начала понимать, что борьба ее обречена, но снова и снова пыталась выгresti на-
зад. Дыхание уже сильно сбилось, и в поджившем после операции горле возникла
кровяная соленость.

— У крови с морем одинаковый вкус, — заметила Геля.

— Мертвая волна, — в зловещем шипении услышала она близкий голос, Сергею
явно не принадлежащий.

Страх не было — только веселое согласие с убийственным раствором неба, не вы-
пускающим ее из объятий. Сергей бросился вниз лицом и отчаянно греб по направ-
лению к ней, стараясь поймать ритм. На воде растекались коричневые, противореча-
щие окружающей бирюзе трупные пятна и выступала густая пена, как с пива или заг-
нанной лошади. Геля услышала звуки тяжелого бега увязающих в песке ног.

— К пирсу! К пирсу плывите! Вдоль! — кричал кто-то невидимый, но не тот, кто
сообщил о мертвой волне.

Сергей первым послушался доброхота и поплыл, как начинающий, вдоль бере-
га. Геля устремилась следом. Метров через двадцать они оказались в нормальной,

тихо струящейся темно-синей воде. Выбрались на карачках и упали на остывший песок, забыв и о первородной нагоде, и о скромных намерениях, не стыдясь друг друга, как все тяжкоболящие и чудом избежавшие гибели. Сергей доковылял до их одеяний, вернулся уже в штанах и подал Геле сарафан, не пряча взгляда.

— Почему это было? — голос не повиновался Геле, как только что тело.

— Отбойное течение, — сказал Сергей сдавленно.

Такое объяснение ничего к происшедшему не добавило. «Мертвая волна» сказала ей куда больше. Скрипя песком, к ним приближался, скорее всего, тот самый сторож, от которого Сергей избавился в уме, зачислив в пьяные.

— В тягун попали, — сторож сел рядом с одевшейся Гелей. — Дурная штука этот тягун. Ловушка форменная.

Он находился в стадии «выпимши» и был не опасен, но мог в любой миг набрать обороты недопитого.

— Как так получается? — просипела Геля.

— Отток воды в отлив мощный. Обратную волну дает. Ты туда, а она тебя обратно отбивает. Пятнадцать километров в час дует. Поняла? — ударение он делал на «о» и в километрах, и в сомнении по части понимания.

— Тайна, — подумала Геля. — Что тут можно понять и зачем?

— Днем коридор отбойный видно. А ночью что? Обманка.

Родной «коридор» напомнил Геле Карлушку, и ей горячо захотелось во Двор, к Лелю и Люлю, и особенно — к Бабуль, к ее боковому теплу. На берегу заметно светало, а море оставалось глухим и смертельным хранителем ночи. Сторож повернулся к Сергею и поднял палец.

— Побаловаться хотел? С морем не забалуешь. Чуть не утопил девку. Как жить бы стал? Иди и не грехи, — обратился он уже к Геле и положил ей на голову разрешительную руку. Геля, явственно испытывая возвращение на новое необмятое место души, ампутированной безволосым врачом, приникла к этой корявой, воняющей луком, мало что не крабьей клешне и благоговейно поцеловала.

На вокзал Гелю провожал военпред. Мама узнала о ночном походе случайно: проболтался невинный Саркисик. Истерика продолжалась много часов. Военпред неустанно твердил свое «значит, так». Очень тянуло спросить, как зовут его жену. Правда, удалось заблаговременно изолировать Сергея, переселив его к молочнице Люсе, равнодушной к вдовому Акопу.

Билеты даже в воинской кассе были только в общий вагон. Маме это обстоятельство казалось оптимальным видом наказания за разврат, а Геле было все равно. Так она обозначала повторное обретение жизни. Искоса поглядывала на след от прививки, но изменений не находила. Он оставался так же бел и кругл, как при миндалинах и как до мертвой волны.

Место располагалось в обычном купе, только оно было набито под завязку, а не четырьмя пассажирами. Геле досталось соседство со студентами, но не застегнутыми, как танцевальный Сергей, а старшекурсно распоясанными и расхристанными, словно отпетые персонажи «Очерков бурсы». На прощание военпред не придумал ничего лучше, как обратиться к бурсакам с просьбой:

— Значит, так... За девочкой присмотрите.

Старшекурсники воспаленно воззрились на него, синхронно перевели взгляды на Гелю и совокупно заржали.

Всю дорогу они курили что-то сладко тянущее, пили портвейн местного разлива и ржали по нарастающей. На станции Геля вышла проветриться и размяться, в окно высунулась лохматая, всех заводящая студентка и громко сказала:

— Девочка, не отстань от поезда. Твой папа просил тебя опекать.

— Это не папа, — угрюмо опровергла Геля.

— Ну, извини, — сказала студентка. — Он такой старый — кто бы мог подумать.

Оставшийся путь Геля простояла попеременно в тамбуре и в проходе. Но это ее не беспокоило. У нее теперь была морская миля, мертвая волна и вернувшаяся душа.

Иногда — и даже довольно регулярно — бывает зима. Ее наступление сопровождается таким щедрым и холодным тополиным пухом, что он скапливается не только в углах, но покрывает все обозримое и при этом не горит от поднесенной спички, но гасит ее. Зимой надо перетерпеть — другого способа нет. Тотально делать вид, что ходишь в школу, слушаешь, что там тебе говорят. Держать вытяжку перед Колчигиным, сидеть, набывчившись, перед мамиными обвинениями. Все это кончится, когда резец дойдет до правого края. Тополиный пух смягчится и защекочет лицо, Лядов высунет в окно зад, Марии сядут за «подкидного». Только Аркаша-мелифлютика не снимет дедова кашне, а еще туже закутается — у него аллергия на пух.

Зимой огненный телетайп мысли в Гелиной голове строчил чаще, потому что время шло иначе и темнота не связывалась напрямую с ночью. Зима — это двойные рамы. Нельзя открыть окно в жимолость и смотреть. Зима — это прогулочный, пошаговый пейзаж. Не застоишься. Геля думала о том, что человек такой, какой он мертвый. Любовь к живым совсем другая. Чем ближе находится человек, тем ближе к нему воспринимается.

Что она знала о деде, пока он был жив? Что он привозит из командировок мандарины, книги и игрушки. Что глуховатым от рабочей усталости голосом читает ей «Конька-горбунка». Но когда дед еще только умирал, он успел превратить конька в Костю, который готов за нее драться и разводиться пецилий, чтобы Гелина душа не переставала трепыхаться. Когда еще только умирал, он поручил Геле Бабуль. А что она может сказать о Бабуль? Что та мастерица варить варенье? Даже внешность ее путем не опишет, если спросят. Или о Морковке с ее Сиануком? Настоящее знакомство с человеком начинается после его смерти. Человек проявляется, как Костины фотографии. Перепроявка или недопроявка зависят от правильной установки времени.

У своих ворот копошился, полагая, что чистит снег, Митрофаныч. На нем почему-то был эковский бушлат, а не хорошо сохранившееся солидное пальто с воротником из бобрика. Раньше Геля думала, что это детеныш бобра, но на поверку оказалось, что кролик. Кролика, впрочем, жалко тоже. Наверное, пальто теперь было некому проветривать, и оно истлело. Митрофаныч одряхлел и сгорбился.

«Скоро и он проявится», — успело мелькнуть в Геле.

— Здравствуйте, Евгений Митрофанович, — сказала она как можно приветливее.

— О! Как хорошо, что я тебя встретил, — отозвался Митрофаныч, уже не тратя дефицитного периода на приветствие. — Хочу кое-что тебе показать. Сначала ты проинспектируешь, потом бабушку позовем. Ей надо это видеть.

Отбойное течение отбило всякую охоту думать о скабресном. Геля зашла следом за Митрофанычем в ворота, но в дом он ее не пригласил, а повел в невидный из окна край двора. Участок был довольно обширный, с фруктовыми деревьями, различать породы которых мешали снежные утки.

— Зима — это близнячество. Сходство до одинаковости, — поразмыслила Геля. — Отдых от разности и несочетаемости.

В центре участка высилась и посверкивала прозрачная ледяная до голубизны скульптура. Сердце Гели прыгнуло и ударилось о ребра. Это был застывший призрак девочки на ослике. Девочка сидела прямо, и лед скрал ее болезнь и все, что с ней

случилось после потери любимой живой забавы и всех, кто ее окружал и кого она научилась узнавать.

— Памятник Милечке, — представил Митрофаныч и оправдался: — Временный. Весной закажу такой же из гранита. Мрамор не потяну. И так придется кое-что продать.

Геле не хотелось этих комментариев, но из вежливости приходилось кивать.

Она подумала, что вести сюда Бабуль не стоит. Зачем видеть то, что и так невынимаемо сидит в тебе?

— Нравится? — спросил Митрофаныч.

— Здорово! — сказала Геля — только чтобы не сбивать температуру стариковского самолюбия.

— Ну вот. Я знал, что ты оценишь, — утешился Митрофаныч малым. — Дорожку надо расчистить до темноты. А то видеть стал плохо, упасть боюсь. Теперь обязан до весны дожить.

Они простились снаружи. На углу Геля свернула на Кронштадтскую. Прошагала до набережной и выдвинулась к попечительским развалинам. Ворота были распахнуты и ржавы, но Геля почему-то воспользовалась узкой боковой калиткой, которую заприметила в кладке забора, когда были здесь с Бабуль. Эта калитка вела к заднему фасаду того, что некогда воплотилось для Бабуль и ее соучениц в образе дворца. Черные потеки вдоль остова делали строение при снеге похожим на ствол гигантской березы, зубчато срезанный всепокрушающей доисторической молнией. Штука-турка облипла так прочно, что исподний кирпич до сих пор не проступил.

Геля обогнула здание по часовой стрелке в направлении главного, переднего фасада. Над тазом бывшего фонтана, который набравшая много ненужных познаний Геля сравнила бы теперь с высокобортной японской ванной о-фуру, прозрачно голубел едва угадываемый контур, рассмотреть очертания которого издали мешал контрсвет. Геля усилила зрение шорами ладоней и прибавила шаг. Безобразный штырь обмерз ледяной девочкой на ослике, точно такой же, как во дворе Митрофаныча, только развернутой в другую сторону.

«Бустрофедон, — подумала Геля и добавила: — „Снежная королева“ — неправильная сказка. Лед не имеет к вечности никакого отношения. Лед — временный мрамор зимы».

Кадм, сын Агенора, царя сидонского, брат похищенной Европы, жених Гармонии, уже пристал к острову Каллисти с буквами финикийского алфавита. Кадмейские письма, именуемые в честь дарителя, открываясь влево, обращались лицом вправо. Трудоемкая жизнь бустрофедона была не слишком длинна, ибо человек пренебрегает усердием. Он маниакально ищет облегчения.

Но пахарь не водит плужного быка порожняком, и плуг пашет в обе стороны.

— Это ей снится...

— Это она вспоминает...

— Это она представляет...